

Владимир
КОРОЛЕНКО

Слепой музыкант



Владимир Галактионович Короленко

Марусина заимка

Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=173192

Слепой музыкант: Эксмо; Москва; 2006

ISBN 5-699-16929-6

Содержание

Марусина заимка	4
I. Уголок	4
II. «Бродяжий брак»	16
III. Пахарь Тимоха	28
IV. Белая ночь	49
V. Война	57
VI. Степан	76
VII. Заключение	100

Владимир Короленко

Марусина заимка

Очерки из жизни в далекой стороне

І. Уголок

Мы ехали верхами по долине Амги. Лошади бежали тихою «хлынью» по колеям якутской дороги.

Эти дороги совсем не похожи на русские, укатанные телегами и лежащие «скатертью» между зелеными полосами. Здесь дороги утаптываются лишь копытами верховых лошадей. Две глубокие борозды, отделенные межником, по которому растет высокая трава, лежат в середине. Они одинаково глубоки и рисуются ясными линиями пыльного дна. Если едут двое – они плетутся рядом под ленивые разговоры о наследных происшествиях, о покосах или приезде начальства. Трое в ряд ездят уже гораздо реже, четверо уже выстраиваются двумя парами, одна за другой. Поэтому несколько пар боковых дорожек намечаются все слабее и слабее, теряясь едва заметными линиями в буйной траве.

Травы в этот год были роскошные. Якут, ехавший навстречу, виднелся нам за поворотом лишь своей остроконеч-

ной шапкой, приподнятыми рукавами своего кафтана, и порой только встряхивалась над зеленой стеной голова его лошади. Он разминулся с нами, обменявшись обычными приветствиями, и, прибавив шагу, скоро совсем исчез среди волнующегося зеленого моря...

Солнце висело над дальней грядой гор. И летом оно стоит в этих местах невысоко, но светит своими косыми лучами почти целые сутки, восходя и заходя почти в одном месте. Земля, разогреваемая спокойно, но постоянно, не успевает значительно охладиться в короткую ночь, с ее предутренним туманом, и в полдень северное лето пышет жаром и сверкает своей особенной прелестью, тихой и печальной...

Дальние горы, обвеянные синеватою мглой, реяли и, казалось, расплавились в истоме. Легкий ветер шевелил густые травы, пестревшие разноцветными ирисами, кашкой и какими-то еще бесчисленными желтыми и белыми головками. Нашим лошадям стоило повернуть головы, чтобы схватить, даже не нагибаясь, пук сочной травы с межника, – и они бежали дальше, помахивая зажатými в губах роскошными букетами. Кое-где открывались вдруг небольшие озера, точно клочки синего неба, упавшие на землю и оправленные в изумрудную зелень... И от всей этой тихой красоты становилось еще печальнее на сердце. Казалось, сама пустыня тоскует о чем-то далеком и неясном в задумчивой истоме своего короткого лета.

Мы миновали небольшую кучку юрт, расположившихся

на холме над озером, и зеленый луг опять принял нас в свои молчаливые объятия. Горы другого берега уже не туманились, а проступали осками каменистых оврагов, нащепившихся остроконечными верхушками лиственниц. Слева все ближе подступали холмы, разделенные узкими луговинками, и пади, по которым струились тихие речки амгинского бассейна. По этим речкам ходили «вольно, нехранимо» табуны кобылиц, принадлежащие якутским «богатырям» родовичам, успевшим и здесь, на лоне почти девственной природы, захватить лучшие уголки божией земли.

По временам в ущельях глухо раздавался топот конских копыт, и табун, одичавший и отъевшийся на жирных травах, выскакивал из пади на луговину, привлеченный ржанием наших лошадей. Кобылицы, подняв уши и охорашиваясь, выказывали явное любопытство, но вожак-жеребец, тотчас же вытянув, как рассерженный гусь, свою длинную шею и почти волоча по траве роскошную гриву, — делал широкий круг около стада, вспугивая легкомысленных красавиц и загоняя их обратно. Когда кобылы, не смея послушаться и делая вид, что они сами очень напуганы, скрывались опять за речкой, в глубине ущелья, сторожевой жеребец выбегал от туда обратно и, все трясая головой и расстилая гриву, грозно подбегал к нам, зорко и пытливо высматривая наши намерения. Наши лошади вздрагивали от нетерпеливого желания завязать дружеские или враждебные отношения с себе подобными, и нам приходилось тогда усиленно прибегать к на-

гайкам. Жеребец, проводив неведомых гостей с полверсты, весело возвращался обратно к своему гарему, а наши лошади уныло опускали головы и ленивою хлынью продолжали бежать по роскошным пустынным лугам. Становилось еще скучнее, тихая и безмолвная красота пустыни томила еще больше, молчание ее еще гуще насыщалось какими-то реющими, как туман, желаниями и образами. Глаз беспокойно искал чего-то в смеющихся далях. Но навстречу попадался только ленивый дымок юрты над озером, или якутская могила – небольшой сруб вроде избушки с высоким крестом – загадочно смотрела с холма над водой, обвеянная грустным шепотом деревьев...

– Посмотрите-ка, – сказал вдруг мой товарищ, задерживая повод разбежавшейся лошади.

Мы давно ехали узкой дорожкой, две-три колеи которой чуть-чуть взрезали зеленую целину роскошного луга. Где-то мы сбились, очевидно, с проезжей дороги, но мало заботились об этом, так как горы того берега легко могли служить нам указанием. Теперь навстречу нам выросла молодой ярко-зеленый лесок, над вершинами которого уже исчезли меловые скалы. Наша дорожка внезапно вбежала в пространство, обнесенное с двух сторон городьбой, кое-где даже плетнем, не часто употребляемыми в этих местах, и вскоре дымок засинел перед нами на зеленой стене леса.

Мы оглядывались с удивлением: пашни, хотя и нечастые,

составляют, однако, обычное явление в этих недалёких улу-сах, но огородов якуты совсем еще не знают. Кое-где, правда, проезжая по наслегам, мы встречали клочки земли, старательно обнесенные высоким палисадом или тыном и напоминавшие вдали от жилья кладбища или старые языческие мольбища, огражденные от взоров посторонних. Но это были только наследные огороды. Один из губернаторов, прекрасодушный немец, большой знаток и любитель огородничества, предписал строжайшими циркулярами, чтобы по всем наслегам были заведены огороды. Якуты в точности исполнили волю начальства – отвели по клочку земли и обнесли крепчайшими частоколами, оставив лишь один вход, запиравшийся на замок, ключ от которого вручался особому выборному лицу. Дальше, однако, дело не шло. Губернатора давно уже нет, но до сих пор тщательно огражденные пустые участки свидетельствуют об его попечениях. Следы межников и грядок давно исчезли под необыкновенно буйной порослью белены и чертополоха, защищенных от лугового ветра...

Теперь перед нами лежал настоящий, отлично разделанный огород. Высокие грядки уже зеленели ботвой картофеля и кудрявыми султанчиками моркови. Бледно-зеленая капустаная рассада торчала рядами в неглубоких лунках, еще темных от обильной поливки. По кольям навивался горох, в небольшом срубе примитивного парника уютно зеленели побеги огурцов, видимо тщательно оберегаемых от утрен-

них коротких, но резких заморозков. Невдалеке волновалась нивка колосившейся озими.

Но что всего более удивило нас – это небольшая избушка, стоявшая посреди этого заколдованного уголка. Это была не юрта с наклонными стенами и не сибирский «амбар» с прямым срубом и плоской земляной крышей, а настоящая малорусская хатка с соломенной стрехой и тщательно обмазанными стенами. Только окна частью из слюды, частью из осколков стекла, вставленных в узорно вырезанную берестяную рамку, отличали это жилье от какой-нибудь черниговской или полтавской «хатынки». Изумленный неожиданно взгляд невольно искал колеса с семьей аиста на крыше и высокого «журавля» криницы. Но вместо аистов над поляной носились северные орлы с пронзительным криком молодого жеребенка, а в кринице, видимо, не было надобности: в нескольких десятках саженей за избушкой, тяжело отражая безоблачное небо, лежало небольшое озерко. На середине его, точно раскиданные кем-то черные комья, дремала стайка уток, беспечно уткнув головы под крылья...

Утки были дикие, лес был лиственничный, сибирский, чуждый и этой хатке, с ее соломенной крышей, и этим грядам...

Мой товарищ, природный украинец, приподнялся на стременах, и лицо его даже слегка покраснело под слоем загара. Он смотрел кругом, но никого и ничего не было видно. Ветер тихо шевелил соломою крыши, чуть-чуть шелестела

тайга, и жалобный переливчатый крик орленка или коршуна один резко нарушал тишину. Казалось, вот-вот сейчас дрогнет что-то и вся эта иллюзия малороссийского хуторка на дальнем севере расплывется, как дымное марево...

– Эй, а хто тут в бога вируе? – крикнул мой спутник на родном языке, на котором, впрочем, не говорил при мне еще ни разу.

Что-то зашуршало под тыном, вплоть около нас.

– Ой, лішенько! – сказал как будто испуганный женский голос, и худощавое молодое лицо с черными глазами вдруг поднялось над заплотом. Лицо было смугло, голова повязана по-малорусски «кичкою», глаза быстрые, живые и несколько дикие смотрели с выражением любопытства и испуга. Было ясно, что женщина, застигнутая врасплох появлением незнакомых людей, нарочно притаилась под плетнем в надежде укрыться от непрошенных гостей.

– Здоровеньки були, – весело сказал мой товарищ.

Незнакомка кивнула головой, и в ее выразительных глазах любопытство ясно пересилило испуг. Она поднялась над заплотом и наклонилась, оглядывая нас быстрым сверкающим взглядом, от голов до копыт наших лошадей... По-видимому, этот осмотр не разъяснил ей ничего: ее тревога не усилилась и не рассеялась, а любопытство оставалось неудовлетворенным. Но в ее черных глазах все-таки мелькало скорее нерасположение. Видимо, смуглянка надеялась, что мы спросим, как выехать на проезжую дорогу, и отправимся сво-

им путем далее.

Но мы не торопились и к тому же были слишком заинтересованы.

– Чья эта хатка? – спросил мой товарищ.

– А вам на что? – ответила незнакомка вопросом и неохотно прибавила: – Ну, Степанова та моя.

«Что же вам еще нужно и почему вы не уезжаете?» – как будто говорил ее неприветливый взгляд.

Но имя Степана заинтересовало нас еще больше. Мы уже не раз слышали об этом поселенце, слышали также, что у него отличное хозяйство и красивая хозяйка. Об этом рассказывал, между прочим, в один из своих приездов в слободу заседатель Федосеев, человек добродушный, веселый и порядочно распушенный. Он считался, между прочим, большим донжуаном. Однако на игривую шутку почтового смотрителя на этот раз он слегка покраснел, как-то озабоченно поднял брови и покачал головой.

– Ну, нет, батюшка, ошиблись, – сказал он серьезно. – У них там, на озере, настоящая... настоящая... как это, господа, говорится по-книжному?..

– Идиллия? – подсказал кто-то из нас.

– Ну, вот-вот! Да и Степашка этот из себя молодец. Сюда попал за бродяжество, а видно, что ухорез. В случае чего – головы, подлец, не пожалеет... И притом считает себя как бы в законе...

– Медведь их, что ли, в тайге обвенчал, – не унимался

смотритель.

– Черт их знает... По бродяжеству, говорит, венчаны... Обряд будто бы тоже какой-то...

– Уж будто вы так и отступились? – сказал смотритель насмешливо. Федосеев наморщил брови, покраснел и с досадой пожал плечами.

В пустынных местах удельный вес человека, в особенности человека хоть чем-нибудь выделяющегося, – вообще больше, и имя Степана «с озера» или с «Дальней заимки» произносилось в слободе с оттенком значительности и уважения. «Мы с Степаном довольно знакомы», – хвастливо говорили поселенцы, а якуты весело кивали головами: «Истебан биллем» (Степана знаем)... Совершенно понятно, что теперь, когда мы случайно попали к этому человеку, нам не хотелось уезжать от его заимки, не познакомившись с хозяином.

– А где же сам Степан? – спросил я, оглядываясь и подыскивая предлог остаться.

– Немá Степана. У слободу поехал, – ответила молодая женщина как-то торопливо. – Не скоро и воротится...

И ее черные глаза впились в мой верблюжий кафтан с разводами на полях, какие носят приискатели. Казалось, человек в таком кафтане в особенности не мог рассчитывать на ее снисходительность.

– Ну, езжайте с богом, – закончила она бесцеремонно. – Немá и немá Степана. Где ж мне его взять... А вам здесь

оставаться не можна.

Мы переглянулись с товарищем, и он уже было тронул лошадь, как вдруг на озере, на другом берегу, грянул выстрел. Взвился белый дымок, утки, скорее изумленные, чем испуганные, тяжело подымались над водой, взмахивая серповидными крыльями, с трудом уносившими грузные тела. Орлята заржали неистово и злорадно; по озеру, оживляя сонную поверхность, засверкали круги, и на минуту тревожная суэта наполнила весь этот тихий угол.

Но только на минуту. Круги скоро улеглись, вода выгладилась, стая уток скрылась за верхушками леса... Только на самой середине неподвижно лежали две убитые птицы, а от берега отчаливал небольшой плот. Стрелок торопливо толкался шестом, по временам прикрывая глаза рукою и глядя из-под ладони по направлению к нам.

– Эге!.. Скоро же Степан вернулся из слободы, – засмеялся мой товарищ. Но молодая женщина, нисколько не сконфузившись, пожала плечами и посмотрела на нас откровенно неприязненным взглядом.

Между тем стрелок, подобрав уток, причалил к берегу, соскочил с плота и торопливо направился к нам, перескакивая через городьбу и шагая через грядки. Подойдя на несколько шагов, он отдал женщине ружье и кинул на землю уток.

– Милости просим, господа, – сказал он, вежливо снимая шапку. – Слезайте с коней.

– Да нам тут объявили, что вас нет дома, – сказал мой

спутник, улыбаясь. Степан посмотрел на женщину быстрым и гневным взглядом, но она встретила этот взгляд беззаботно и вызывающе.

– Опять ты, Маруся, за старое... Дура, – грубо сказал Степан. – Ну, ставь чайник, живее... Птицу возьми! Пожалуйте, господа! Мы хорошим людям рады...

Женщина быстро нагнулась и подняла птицу, а затем еще раз окинула нас своим диким взглядом. По-видимому, какой-то оттенок в обращении Степана заставил ее задуматься, и только мой кафтан по-прежнему внушал сомнение. В конце этого вторичного осмотра она все-таки улыбнулась, вскинула на плечи ружье, и ее стройный стан быстро замелькал между грядками. Босые загорелые ноги, видневшиеся из-под короткой юбки, привычно и ловко ступали по глубоким и узким огородным межам.

– Извините, господа! Дикая она у меня, – сказал Степан с оттенком самодовольства, заметив, что мы любуемся его Марусей. – Она, видите, думала, что вы – приискатели.

– А если бы приискатели? Так что же?

– Звали тут меня... в присковую партию, – ответил он, глядя как-то в сторону... – Дайте-ка я ваших лошадей привяжу. Пожалуйте вот сюда.

И он пошел впереди, ведя в поводу лошадей. Это был человек высокого роста, с широкими плечами и стройным тонким станом. У него были светло-голубые глаза, светло-русые волосы и почти совсем белые усы, странно выделявши-

еся на сильно загорелом красном лице. Его можно было бы назвать красавцем, если бы не тусклость точно задернутого чем-то взгляда и не эти слишком уже светлые усы на темном лице. Губы у него были полные, с какой-то странною складкой – грубоватой и портившей довольно благоприятное общее впечатление. Во всей фигуре чувствовалось что-то уже как бы надломленное, не вполне нормальное, хотя и сильное. Родом он, как оказалось после, был с Дона.

II. «Бродяжий брак»

Через полчаса мы лежали на сочной траве, недалеко от избушки. На земле потрескивал костер, и в железном котле закипала вода.

Кругом опять вошла в колею жизнь пустыни. Орлята и коршуны заливались своим свистом и ржанием, переливчатым и неприятным, по ветвям лиственниц ходил ленивый шорох, и утки, забыв или даже не зная о недавней тревоге, опять лежали черными комьями на гладкой воде озера.

Маруся, казалось, готова была примириться с нами. Она вступила в роль хозяйки, поставила чайник и уселась было около Степана, ожидая, пока вода закипит у огня. При этом исподлобья она взглядывала на нас с выражением застенчивого любопытства. Но мой товарищ, в свою очередь окинув ее пристальным взглядом, сказал:

– А вы, землячка, кажется, из-под Чернигова? Или с Полтавщины?

Молодая женщина вся вздрогнула, как от внезапного удара. По лицу ее пробежала резкая судорога, она с ненавистью взглянула на неосторожного допросчика и быстро поднялась на ноги. При этом она нечаянно толкнула чайник и, не обращая внимания на то, что вода лилась на угли, скрылась в дверях избы.

Степан слегка нахмурился и, поправив чайник, сказал:

– Теперь уж не подойдет... И чай пить не станет... Напрасно спросили.

И, поправив несколько заглохший огонь, он прибавил задумчиво:

– Всегда вот этак. Теперь я уже и не спрашиваю... Плачет... Или ударится о землю... Пена изо рта, как есть порченная! Так и сам не знаю, – откуда она родом...

Он замолчал. Фигура молодой женщины мелькнула около избушки и скрылась в другом конце огорода. Через некоторое время оттуда донесся мотив какой-то песни. Маруся пела про себя, как будто забыв о нашем присутствии. Песня то жужжала, как веретено в тихий вечер, то вдруг плакала отголосками какой-то рвущей боли... Так мне, по крайней мере, казалось в ту минуту.

– Марья! – крикнул было Степан. – Ну, иди, что ли! Что в самом деле: не съели тебя...

Женщина не ответила, но песня смолкла. Всем нам стало томительно и неловко.

– Эх... некстати маленько спросили, – сказал опять Степан. – Может, обошлось бы. Она ведь у меня занятная... Иной раз разойдется, песни заиграет...

– А когда вы с нею встретились? – спросил я, чтобы поддержать разговор. – И если вам не неприятно, расскажите, как это вы венчались бродяжьим браком?

– Слышали, значит? – спросил Степан, встрепенувшись. – Нет, что же... У меня этого нет... Да что! Здесь такая сторо-

на: никому нет дела! Я даже письма из дому получал...

В его лице появились признаки оживления. Видимо, воспоминания, на которые навел его мой вопрос, не были ему неприятны. Он только оглянулся в сторону Маруси и сказал, немного понижая голос:

– Если вам рассказать, например, всю историю, как мы с нею сошлись, то это даже очень любопытно... Дело-то, если говорить по порядку, начинается с каторги. Значит, ранней весной выбежали мы с товарищем с N-ских рудников. Только снег прошел... Речки еще играли. Ну, сначала скрывались поблизости, в тайге, подобно как звери. Бедствовали сильно. Потом выбились-таки на дорогу, к Чите подходить стали, месяца уже через полтора. Дождь, помню, шел с ночи... А дождь перестанет – туман... Так на горах и висит. Ну, дело по бродяжеству привычное. Идем, отряхаемся. Дождь, дескать, вымочит, ветер высушит. Наплевать! Третий тут еще к нам прикомандировался, бродяжка тоже... Иваном назвался. Только верст этак, может, на десять от городу вдруг из тумана двое на нас: «Стой, что за люди?» Потом посмотрели и говорят: «Нет, не те. Тоже варначье, да нам на этот раз не надобны. Черт с вами». И побежали дальше. Опомнились мы, перекрестились... «А ведь это, братцы, – говорит нам товарищ, – тревога! Непременно из замка кто-нибудь убежал. Надо нам с дороги-то податься в сторону». – «Давайте, – я говорю, – пойдем лучше за ними. Эти не тронули, а на других наткнемся, еще бог знает...» Ну и пошли мы в ту самую

сторону, куда эти двое побежали...

А в эту ночь, действительно, Маруся еще с подругой одной – из острога выбежали. Редкость это, конечно, что женщины бегут, ну, тут, правда, помощь им была... В Читку пришли они в партии. Сами знаете, каково женщине в нашем быту...

– Да, подлость большая! – угрюмо сказал мой товарищ.

– Каторга верховодит, – пояснил Степан. – Продают баб, как скотину, в карты на майдане проигрывают, из полы в полу сдают. Ну а она вдобавок – бедовая, непокорлива. И теперь знак есть: ножиком один пырнул. Как уж там было, бог ее знает, только слюбилась с одним... Тот ухарь был тоже, в обиду уже не давал. Вместе и в Забайкалье пришли. Ему на поселение, ей – в каторгу, только он так порешил, что им не расставаться. Ну, они две с подругой – в лазарет слегли, под видом болезни, а он билет взял и уже около тюрьмы рыщет... Сговорились. Лазарет к тому же по случаю перестройки был за оградой... У Даши тоже друг был, высидочный, и тоже с нею бежать надумал. Вот раз эта Даша и говорит надзирателю: «Принеси четверть вина». – «Рад бы, говорит, принести, да без старшого нельзя». А старшой... сказать вам...

Он запнулся, слегка покраснел, кинул быстрый взгляд в ту сторону, где мелькала над грядками фигура Маруси... Она полола, и до нас опять долетало жужжание ее тихой песни. Степан некоторое время молчал, наткнувшись в рассказе на неожиданное препятствие. Мы не решались торопить его.

– Ну! – сказал он наконец, потрянув головой. – Что уж тут,

сами понимаете: каторга не свой брат. Так уж... что было, чего не было... только в этот вечер пошел у них в камере дым коромыслом: обошли, околдовали, в лоск уложили и старшего, и надзирателя, и фершала. Старшой так, говорили, и не очухался... Сами знаете, баба с нашим братом что может сделать... А тут о головах дело пошло... Притом же – сонного в хмельное подсыпали...

Он остановился и затем продолжал уже свободнее:

– А на дворе дождь... Так и хлыщет, пылит, ручьи пошли. Мы эту погоду клянем в поле, а им самое подходящее дело. Темно. Дождь по крыше гремит, часовой в будку убрался да, видно, задремал. Окна без решеток. Выкинули они во двор свои узелки, посмотрели: никто не увидал. Полезли и сами... Шли всю ночь. На заре вышли к реке, куда им было сказано, смотрят, а там – никого!

Друзья-то, значит, сплеховали! Сошлись к вечеру у притонщика да, может, вспомнили, что теперь в лазарете делается. Ну, с горя хватили. Известно, слабость. Там еще бутылочку... Захмелели, да так, подумайте, и проспали ночь!.. На заре прокинулись: в городе уже тревога, выйти нельзя!

Так они от них и потерялись. Этим ждать нельзя, тем нельзя выйти. Перешли они реку, пошли тайгой на милость божию. А мы на тот случай тоже от греха сошли с дороги, идем лесными тропками. Стали опять на дорогу выбиваться, только третий товарищ отстал: прошлогоднюю ягоду все искал под кустами. Догоняет он нас и говорит: «Послушайте,

братья, что я скажу вам: тут вот две женщины в тайге сидят и плачут». – «Что ты, бог с тобой, каким тут женщинам быть». – «Не знаю, говорит, только юбки на них серые, арестантские». Удивились мы, а тут смотрим: вышли и они на тропу и остановились. Испугались, конечно. Ну, только все-таки мы пошли, они за нами. И подойти боятся, и отстать страшно...

Мы идем, смеемся себе. Выбились на проселок. Дождь кончился, от нас на солнышке пар валит. Встретили сибиряка, трубочки закурили, потом сошли в овражек и сели. Они подошли, остановиться-то уж им неловко, идут мимо, потупились.

«Здравствуйте, говорим, красавицы». – «Здравствуйте». – «Кто вы такие будете?» – «Поселки... Идем в такую-то волость».

И называют, действительно, волость, которая впереди. Научены. Ну, однако, я спрашиваю дальше: «Где же вы судились?» – «В Ирбите». – «А за что?» – «За бродяжество. От мужей». – «Ну, уж это, говорю, извините, неправильно. Ежели бы вы в Ирбите судились за бродяжество, то надо вам не на поселение, а в каторгу. В Камышлове – дело другое». Слово за слово, спутались они, заплакали. «Не обижайте, говорят, нас, господа!» – «Мы обижать никогда не согласны. Сами обижены, ну только понимаем мы так, что из-за вас была тревога. Как же теперь: хотите с нами дальше идти?» – «Нам, говорят, с вами вместе никак нельзя... Идите вы вперед, мы

уж как-нибудь, ежели не хотите обижать, за вами. Потому что мы не какие-нибудь и могут нас наши друзья догнать...»

Пошли мы этак. Идем впереди трое, я и говорю: «Вот что, господа. Ежели придется так, что нам этих женщин взять себе – как быть: их две, нас трое». Вот Иван, который после пристал, и говорит: «Берите себе, ребята, мне не надо. Мне и одному трудно, и годы не те. Не интересуюсь я. Они вместе шли, вы тоже вместе, вам и кстати. А я, может, отстану скоро». Справедливый был бродяга, нечего сказать. Ну, это, говорим, хорошо. Без спору. Теперь нам двоим разбираться. «Ты, говорю, товарищ, как хочешь?» – «Насчет чего?» – «Которую взял бы?» – «А ты?» – «Обо мне речь впереди. Говори сам». – «Ну, я, говорит, ту, которая повыше». Вот дело. Мне-то, признаться, Марья сразу в глаз пала...

Пошли. Они за нами идут. Конечно, дело женское. Нам и для них стараться надо. Запас вышел. В деревни, на заимки заходим, под окнами милостыню просим, кондаки эти тянем. Добываем и на себя, и на них. Чай станем варить – вместе сойдемся. Ночевать – уж они где-нибудь захоронятся... Шли этаким родом с неделю. Стали к Селенге подходить. Переваляли в одном месте через гору. Смотрим: на бережку люди сидят, дымок у них; видно, что бродяги, плот готовят, человек шесть. Вот Иван подозвал женщин и говорит: «Глупо вы это делаете: друзья ваши, может, попались, может, запили, след потеряли. Теперь, ежели в артель ничьи войдете, ведь это грех выйдет из-за вас. Хотите с этими людьми дальше

идти – говорите». Ну, они, конечно, видят, что это правда. Со старыми друзьями дело разохлось... Притом же, обзнакомились мы. Когда пошутим, когда посмеемся. Видят, что мы с ними по-благородному, не пьяницы, не буяны. Говорят: согласны.

Так мы и к артели этой пристали. Те нам рады: река быстрая, плыть трудно.

– А насчет женщин как же? – спросил мой товарищ.

– Что ж насчет женщин? – ответил Степан. – Пришли мы к ним уже не чужие... Притом же артель.

– Ну, в тюрьмах тоже артели, – сказал тот скептически. – Знаем мы артели ваши!

– Знаете, да, видно, не все, – несколько обиженно ответил Степан. – Конечно, в тайге, с глазу на глаз... Тут иной подлец из-за бродней товарища не пожалеет. Ну, что касается в артели, да если есть старики... Вы вот послушайте дальше. Тут, можно сказать, дело у нас помудренее вышло, невесть как и расхлебывать-то пришлось бы... А обошлось благородно.

Сгоношили мы немаленький плот, – рассказчик опять повернулся ко мне, – поплыли вниз по реке. А река дикая, быстрая. Берега – камень, да лес, да пороги. Плыдем на волю божию день, и другой, и третий. Вот на третий день к вечеру причалили к берегу, сами в лощине огонь развели, бабы наши по ягоды пошли. Глядь, сверху плывет что-то. Сначала будто бревнушко оказывает, потом ближе да ближе – плотишко. На плоту двое, веслами машут, летит плотик, как

птица, и прямо к нам.

«Здравствуйте, говорят».

«Здравствуйте».

«Можно к вашему огню присесть?»

«Садитесь, если вы добрые люди...»

«Мы, говорят, вашего поля ягоды. Гонимся за вами сколько время, насилу догнали».

«Что же вам за надобность? Мы вас не знаем».

«Может, кто и признает... Все ли вы тут в сборе?»

«Не все в сборе: две женщины вот по ягоды пошли».

«Ну, подождем. Придут они – мы свое дело скажем».

Посидели, поговорили о разном. О деле ни слова. Как тут глядим: идут и наши женщины из лесу. Только стали к берегу подходить, гляжу я: встала моя Марья как вкопанная. Лицо белее рубашки. Дарья посмотрела, только руками всплеснула.

«Ну, вот, – говорят гости, – спросите теперь у этих женщин, знают ли они нас? Может, отрекутся».

Признаться, упало у меня сердце: ежели, думаю, теперь отдать мне ее другому, лучше не жить...

Дарья, посмелее, вышла вперед и говорит:

«Не отрекаюсь. Вы с нами в партии шли, из тюрьмы вызволяли. Зачем потеряли?»

«Мы потеряли, другие нашли. Чья находка? – говорит один повыше. – Вас тут семеро, нас двое... Какая будет ваша правда? Посмотрим мы, а отступить не согласны».

Я говорю: «Мы, братцы, тоже не отступимся. Будь что будет». Ну, старики нас развели и говорят: «Вот что. Вы, ребята, к нам недавно пристали, а тех и вовсе не знаем. Но как у нас артель, то надо рассудить по совести. Согласны ли? А не согласны, – артель отступится. Ведайтесь, как знаете...»

Мы, делать нечего, согласились, те тоже. Стали старики судить, Иван с ними. Те говорят: «Мы с ними в партии шли. На майдане купили, деньги отдали, из тюрьмы вызволяли». Мы опять свое: «Верно, господа, так. А зачем вы их потеряли? Мы с ними, может, тысячу верст прошли не на казенных хлебах, как вы. По полсутки под окнами клянчили. Себя не жалели. Два раза чуть в острог не попали, а уж им-то без нас верно, что не миновать бы каторги».

Старики послушали наши споры, потом потолковали между собой и говорят нам:

«Все ли вы, ребята, с этими женщинами на поселении жить соглашаетесь или дорогой идти, потом бросить?»

Мы, конечно, говорим: согласны жить.

«Ну, так мы, дескать, вот как обсудили. Майдан теперь вспоминать ни к чему. Это дело тюремное, на воле этот закон не действует. Из тюрьмы вы их вызволяли, так опять след потеряли от своей слабости. Опять это ни к чему. Ни на которую сторону не тянет. Спросим теперь самих женщин».

– Догадались все-таки! – усмехнулся мой товарищ.

– Это, конечно... правильно, – сказал Степан. – Ну, призывали женщин. Даша заплакала: «Ежели бы вы, говорит, след

не потеряли. Мы сколько время шли с ними, они нас не обижали...» А Марья вышла вперед и поклонилась в пояс.

«Ты мне, говорит, в тюрьме за мужа был. Купил ты меня, да это все равно. Другому бы досталась, руки бы на себя наложила. Значит, охотой к тебе пошла... За любовь твою, за береженье в ноги тебе кланяюсь... Ну, а теперь, говорит, послушай, что я тебе скажу: когда я уже из тюрьмы вышла, то больше по рукам ходить не стану... Пропил ты меня в ту ночь, как мы в кустах вас дожидались, и другой раз пропьешь. Ежели б старики рассудили тебе отдать, только б меня и видели...»

Тот только потупился, слова не сказал. Видят, что дело их не выгорело. Один и говорит: «Я теперь в свою волость пойду», а другой: «Мне идти некуда. Одна дорога – бродяжья. Ну, только нам теперь вместе идти нехорошо. Прощайте, господа». Взяли котелки, всю свою амуницию, пошли назад. Отошли вверх по реке верст пяток, свой огонек развели.

Долго я ночью не спал, на их огонек глядел. Темною ночью огонь кажется близехонько. Думаю: на сердце у него нехорошо теперь. Если человек отчаянный, то, может, огонь у него горит, а он берегом крадется... Ну, однако, ничего. Наутро – еще гор из-за тумана не видно – мы уж плот свой спустили...

Он замолчал.

– Ну а как же вы сюда-то вместе попали?

– Это уже дело проще. Зимовали у сибиряка в рабочих. На другую весну опять пошли. Довел я ее до Пермской

губернии. В Камышлове арестовались, показали на одно имя... Судят за бродяжество в каторгу, а за переполнением мест – в Якутскую область. В партии уже вместе шли, все равно муж и жена...

III. Пахарь Тимоха

Долгий летний день все еще горел своим спокойным светом, только в воздухе чуялось постепенное охлаждение. Зной удалялся незаметно вместе с блеском и яркостью красок.

Степан предложил поохотиться на гусей. Мой товарищ согласился. Я отказался и пошел от скуки пройтись по лесу. В лесу было тихо и спокойно, стоял серый полумрак стволов, и только вверху играли еще лучи, светилось небо и ходил легкий шорох. Я присел под лиственницей, чтобы закурить папиросу, и, пока дымок тихо вился надо мною, отгоняя больших лесных комаров, меня совершенно незаметно охватила та внезапная сладкая и туманная дремота, которая бывает результатом усталости на свежем воздухе.

Меня разбудили чьи-то мелкие шаги. Между стволов мелькала фигура Марьи; в руках у нее был платок с завязанным в нем горшком и хлебом. Очевидно, она несла кому-то ужин.

Кому же? Значит, население этого уголка не ограничивается Степаном и Марусей... Есть кто-то третий. И в самом деле, трудно было представить, что весь этот уголок разделан руками только двух человек. Для этого нужно было много упорного труда и своего рода творчества. Я вспомнил, каким тусклым и безучастным взглядом Степан смотрел на свои

владения... Едва ли он играл в этом творчестве особенно видную роль. На всем здесь лежала печать Маруси, ее личности и ее родины. Но все-таки этого было недостаточно. Нужна была еще чья-то упорная сила, чьи-нибудь крепкие мускулы...

Фигура женщины исчезла между стволами. Я выкурил еще папиросу и пошел в том же направлении, интересуясь этим неведомым третьим обитателем хутора.

Вскоре передо мной мелькнула лесная вырубка. Распаханная земля густо чернела жирными бороздами, и только островками зелень держалась около больших, еще не выкорчеванных пней. За большим кустом, невдалеке от меня, чуть тлелись угли костра, на которых стоял чайник. Маруся сидела вполоборота ко мне. В эту минуту она распустила на голове платок и поправляла под ним волосы. Покончив с этим, она принялась есть.

С ней был еще кто-то, но за кустом мне его не было видно.

Один мой знакомый, считавший себя знатоком женщин, сделал шутовское замечание, что любовь крестьянской женщины легко узнать по тому, с кем она охотнее ест. Это замечание внезапно мелькнуло у меня в голове при взгляде на спокойное лицо Маруси. С нами она была дика и неприступна; теперь в ее позе, во всех ее движениях сквозила интимность и полная свобода.

Мое положение невольного соглядатая показалось мне не совсем удобным, и потому, отступя несколько шагов по мяг-

кому мху, я вышел на полянку в таком месте, где меня сразу могли заметить.

Мои подозрения рассеялись тотчас же, как только, приблизясь, я разглядел собеседника Маруси.

Это был человек, которому даже при пылком воображении трудно было навязать роль соперника удалого Степана. В то время как на последнем все было чисто и даже, пожалуй, щеголевато, – работник весь оброс грязью: пыль на лице и шее размокла от пота, рукав грязной рубахи был разорван, истертый и измызганный олений трех беззаботно покрывал его голову с запыленными волосами, обрезанными на лбу и падавшими на плечи, что придавало ему какой-то архаический вид. Такими рисуют древних славян. Возраст его определить было бы трудно: сорок, сорок пять, пятьдесят, а может быть, и значительно менее: это была одна из тех кряжистых фигур, покрытых как будто корою, сквозь которую не проступит ни игра и сверкание молодости, ни тусклая старость. Глаза, выцветшие, полинялые от солнца и непогоды, едва выделялись на сером лице, и, только приглядевшись, можно было заметить в них искру добродушного лукавства.

Плохие якутские торбасишки он снял на время отдыха, и огромные ступни его торчали как-то нелепо из-под синих дабовых штанов.

– Хлеб-соль! – сказал я, кланяясь.

Он смотрел на меня несколько секунд, не отвечая, и потом сказал:

– Милости просим, хлеба кушать...

– Можно присесть?

– Садись, не просидишь места.

Маруся не обратила на меня никакого внимания. Незнакомец зачерпнул несколько раз ложкой из горшка и, еще рассмотрев меня с деловитым любопытством, спросил:

– Из каких местов будете? Расейские?

Я назвал свою губернию.

– Это что же, под Киевом?

– Да.

– Далече же, – произнес он и, отложив ложку, перекрестился. – Спасибо, хозяйка.

– А вы откуда родом?

– Мы-то? Мы калуцкие.

– А здесь давно?

– Здесь-то... Да уж, как тебе сказать, годов десятка полтора будет.

– Давно! – вырвалось у меня невольно.

– А мне, так будто и недавно. Поживешь сам годов с пяток, а там и не заметишь... Объявляли, скажем, манифесты. Мне хоть сейчас ступай куда хоть, хоть в Иркутской... Да куда пойдешь? Далеко!

Мне опять вспомнился Степан, выбежавший из каторги, прошедший с Марусей всю Сибирь, и я с невольным жутким чувством посмотрел на этого человека, напоминавшего обошлый пень, выкинутый волной на неприветливую отмель.

Он вынул из кармана кисет и трубку и потом взял из пепелища горячий уголь, который, казалось, нисколько не жег его руку...

– Куда пойдешь? – сказал он, выпуская дым изо рта, и мне стало еще более жутко от этой безнадежности, потерявшей даже свою горечь... – Нет, брат, попал сюда, тут и косточки сложишь...

Он посмотрел на меня из-за клубов дыма, и какая-то мысль залегла где-то в неясной глубине его серых глаз.

– Этакой же вот Ермолаев был, когда мы с ним в дальнем улусе встретились. Молодой... Я, говорит, здесь не заживусь... Не зажился; теперь уж борода седая...

И он опять посмотрел на меня.

– Вы это о каком Ермолаеве говорите? О Петре Ивановиче? – спросил я.

– Ну, ну, знакомцы, видно?

– Встречались.

Он откинулся спиной на пень и принял позу человека, наслаждающегося отдыхом.

– Да... жили мы с ним, – сказал он, вспоминая что-то. – Душевный человек. Ну! чудак... А не говорил он тебе про меня?

– Нет, не говорил...

– Про Тимоху-то?.. Как мы с ним в улусе землю зачали пахать?

– Нет, не говорил. А вы расскажите сами.

– Рассказать тебе?.. Пожалуй, еще не поверишь...

– Расскажи, – вдруг тихо и застенчиво вмешалась Маруся...

– Любит, – сказал Тимофей, усмехнувшись в сторону Маруси. – Все одно – сказку ей рассказывай...

Он затянулся махоркой, посмотрев кверху, где тихо качались верхушки лиственниц и плыли белые облака, и сказал:

– Да... и верно, что сказка. Поди, в нашей деревне тоже не поверят, какие народы есть у белого царя. Значит... пригнали меня в наслег, в самый дальней по округе. А Пётра-то Иваныч там уже. Сидит... в юрешке в махонькой, да книжку читает...

В глазах рассказчика мелькнул чуть заметный насмешливый огонек.

– Ну, я, конечно, русскому человеку рад: «Здравствуйте, говорю, ваше благородие». Потому вижу: обличье барское. «Какое, говорит, я благородие. Такой же, говорит, жиган, как и вы». – «Ну, это, говорю, спасибо на добром слове. А как вас величать?» – «Пётра, говорит, Иваныч. А вас?» – А я, говорю, Тимофей, просто сказать, Тимоха, дело мое мужицкое». – «Нет, говорит, не идет это...» Чудак!.. Так и пошло у нас: я ему – Пётра Иванович... А он мне: Тимофей Аверьянович!.. А генеральской сын... Ну, хорошо. Напоил меня чаем, потом сел на ороне, смотрит на меня. Я на него смотрю... «Что же, говорит, теперь мы с тобой, Тимофей Аверьянович, делать будем?» – «Не знаю, говорю, Пётра Иванович.

Кабы так что лошадь, да соха, да семена – землю бы пахать, чего боле! Да, вишь, нет ничего. Палкой ее не сковыряешь, песком не засеешь». – «Это бы, говорит, ничего. Об лошади дело малое, соху, пожалуй, тоже – хоть далеко – достанем. Да я сроду не пахивал». – «Это, говорю, ничего. Ты не умеешь, я умею. Уродит бог, оба сыты будем. Земли, слышь, много, земля, я поглядел, хороша».

В это время издалека донесся звук выстрела.

– Постреливает твой-то... хозяин, – сказал Тимоха с юмором, обратясь к Марусе. Мне показалось, что по лицу молодой женщины прошла какая-то тень.

– Ну, – продолжал Тимофей, – купил он лошадь, за сошником да лемехом за двести верст смахал. Сладил и соху, выбрали местечко под лесом. Здесь лес хороший, сладкий. У сосны, брат, прямо тебе скажу, никогда не паши, потому – сосновая игла едучая. А лиственль много слаще... Поехал мой Пётра Иваныч за семенами к скопцам, а тут как раз и ударь дождиком, да те-еплым. Снег-то мигом съело, пошла из земли трава. Так тебе и лезет, все одно на опаре. Ну, думаю: когда так, то, видно, зевать нечего. Помолился да на зорьке выехал с сошкой... Налей-ка ты мне, хозяйка, еще чашечку.

Марья налила в чашку густого кирпичного чаю, подала Тимофею и тотчас же уставилась в него своими странными черными глазами. Тимофей налил чай на блюдце и поставил на траву, рядом с собой.

– Побился я этот день порядочно, – продолжал он, – земля-те сроду не пахана, конь якутской дикой; не то что на него надеяться: чуть зазевался, уж он норовит порскнуть в лес, да и с сохой. Известно: каковы хозяева, такова и животная. Ну, однако, обломал я его: руки вожжами мало из плеч не вытянул, а все-таки к вечеру с четверть десятины места отпластал. Посмотрел на пашенку – сердце в груди взыграло: значит, сподобил господь в пустыне пашенку поднять. Лежит моя полоска на взлобочке – бархат... Однако пора пришла и шабашить. Дело субботнее: в нашей, мол, деревне, пожалуй, уже и к вечерням ударили. И ведь вот, братец мой, чудесное дело: только я это подумал, – слышу, – и верно ударило. Раз, другой, третий... этак вот из-за лесу наносит – звон, да и только. Снял я шапку лоб перекрестить, да вдруг и вспомнил: с нами сила крестная. Да ведь здесь и церкви-то верст, почитай, на пятьсот нету!..

Из груди Маруси вылетел долгий вздох.

– Ну, пошабашил все-таки, приехал домой. А изба наша, тебе сказать – юртенка, недалече была за перелеском, с версту не более от пашни. Подъезжаю, – а у моей юрты два верхние якута сидят. Лошадей к лесине подвязали, сами на бревне беседуют, дожидаются. Раньше тоже тут все вертелись. Я, значит, пашу, а они, ухастые, кругом рыщут да смотрят. Ну, мне будто ни к чему: не на разбой выехал, на пашню. Смотри, кому охота. Подъехал, честь честью, здороваются, я тоже. Зовут на муняк (сходка) к тойонше. Сказать вам по по-

рядку, так была в нашем улусе за начальника баба, по-ихнему тойонша, вдова родовича богатыря. Ну, язва! Все, значит, что мы ни делаем, ей известно. Я борозду кончил, другую веду, уж ей обсказали. И значит, зовет меня к себе. Ладно, мне что: зовет, надо идти. Наутро, праздничное дело, рубаху чистую надел, иду к ней, потому все-таки, как бы там ни было, начальница считается. Прихожу. Кругом юрты лошадей навязано много. Сама на дворе сидит... Поклонился я, стал в стороне: что, мол, будет. Забалакали они по-своему, ничего, будь прокляты, не поймешь. Потом зовет меня ближе.

«Ты, говорит, нюча (русский), чего это делать задумал?»

«Ну, мол, известно чего: землю пашу». Значит, я ей говорю по-своему, по-русски, а старик якут переводит.

«Не моги, говорит, ты этого делать. Мы, говорит, хоть об этом заведении слыхивали, но, однако, в наших местах не дозволим».

«Как же, я говорю, не позволите? Ежели нам земля отведена, то, стало быть, я ей хозяин, глядеть мне на нее, что ли?»

«Землю, говорит, мы тебе отвели для божьего дела: коси, что бог сам на ней уродит, а портить не моги».

Вот и подумайте, какое ихнее понятие! Ну, однако, вижу, стоят кругом родовичи, ждут, что ихней бабе русский человек может от себя соответствовать. «Это, я говорю, вы вполне неправильно объясняете, потому как бог велел трудиться».

«Трудись, говорит. Мы тоже, говорит, без труда не живем.

Когда уже так, то согласнее мы тебе дать корову и другую с бычком, значит, для разводу. Коси сено, корми скотину, пользуйся молоком и говядиной. Только греха, говорит, у нас этого не заводи».

«Какой грех?» – говорю.

«Как же, говорит, не грех? Бог, говорит, положил так, что на тебе, например, сверху кожа, а под ней кровь. Так ли?»

«Так, мол, это правильно».

«Ежели тебе кожу снять да в нутро положить, а внутренность, например, обернуть наружу, ты что скажешь?»

«Это, говорю, вы надо мной, руським человеком, не можете никак...»

«А ты, говорит, что над землей-то делаешь? Вы, говорит, руськие люди, больно хитры, – бога не боитесь... Бог, значит, положил так, что трава растет кверху, черная земля внизу и корень в земле. А вы, говорит, божье дело навыворот произвели: корень кверху, траву закапываете. Земля-те изболит, травы родить нам не станет, как будем жить?» Вот видишь ты, куда повернула! Говори ты с ними, с поганью. Если бы я грамотный был... После-то уж мне сказал священник: «Ты бы, говорит, им от Писания: в поте лица твоего снеси хлеб. А откуда хлебу быть, ежели землю не пахать». Видишь ты вот: на все слово есть, да не всегда его вспомнишь... Так вот и я на тот случай ничего не мог насупротив сказать, сбила меня колдунья словами. «Мне, говорю, с вами и говорить не надобно: потому вы не те слова выражаете... У вас свой

клима́т, значит, якутской, у меня клима́т руськой. Я от своего климату не отстану, и Пётра Иваныч тоже». Признаться, вступило в меня в ту пору маленько, потому досада. Сердце загорелось, главное дело, что ответить не могу. Потолкал кое-кого порядочно, даром, что много их было. «Вот, говорю, подлецы вы, нечисть лесная! Сколько вас ни есть, выходи!» Известно, народ не хлебный: молоко, да мясо, да рыба тухлая. А у нас с Пётром-то Иванычем хлеб все-таки не переводился. Хлебному человеку – десятерых на одну руку...

– Ну и что же?

– Ну, порастолкал, ушел. Думаю так – что жизни решусь, а от своего, значит, климату не отступлюсь. Только бы Пётра Иваныч скорее вернулся. Пришел домой, лошадь напоил-накормил, богу на солнушко помолился, спать лег пораньше, топор около себя на случай положил... Ну, правду скажу: ночь без малого всю не спал: только задремишь – почудится что-нибудь... будто крадется кто... Один ведь, – кругом лешище... притом еще, как все-таки окровавил я одного, другого, так как бы, думаю, по этому случаю греха не сделали... Концы тоже спрятать недолго. Приедет мой Пётра Иваныч, где, мол, Тимофей-то свет Аверьяныч мой... А Тимохи, ау! – и след простыл.

Он остановился, чтобы отхлебнуть чаю. Видимо было, что собственный рассказ расшевелил Тимоху. Глаза его искрились, лицо стало тоньше и умнее... У каждого из нас есть свой выдающийся период в жизни, и теперь Тимофей раз-

вертывал перед нами свою героическую поэму.

Мой взгляд случайно упал на Марусю. Она как будто застыла вся в волнении и ожидании.

– В силу солнушка дождался, – продолжал Тимофей. – Ну, ободняло, выкатилось солнушко, встал я, помолился, лошадь напоил в озере, запрег. Выезжаю из-за лесу, к пашенке... Что, мол, за притча: пашни-то, братцы, моей как не бывало.

Из груди Маруси вырвался долгий вздох, почти стон... Ее лицо выражало необыкновенное, почти страдальческое участие, и мне невольно вспомнилась... Дездемона, слушавшая рассказы Отелло об его похождениях среди варваров. Тимофей, с неожиданным для меня инстинктом рассказчика, остановился, поковырял в трубке и продолжал, затянувшись:

– С нами, мол, крестная сила. Где же пашня моя? Заблудился, что ли? Так нет: место знакомое и приколотое стоит... А пашни моей нет, и на взлобочке трава оказывается зеленая... Не иначе, думаю, колдовство. Нашаманили, проклятая порода. Потому – шаманы у них, сам знаешь, язвительные живут, сила у дьяволов большая. Навешает сбрую свою, огонь в юрте погасит, как вдарит в бубен, пойдет бесноваться да кликать, тут к нему нечисть эта из-за лесу и слетается.

– Маты божая! – простонала Маруся.

Тимофей, довольный, посмотрел на нее, и его серые глаза еще больше заискрились...

– Сотворил я крестное знамение, подъезжаю все-таки по-

ближе... Что ж ты думаешь: она, значит, бабища эта, ночью с воскресенья на понедельник народ со всего наслега сбила... Я сплю, ничего не чаю, а они, погань, до зари над моей полоской хлопочут: все борозды как есть дочиста руками назад повернули: травой, понимаешь ты, кверху, а кореньем книзу. Издали-то как быть луговина. Примята только.

Маруся засмеялась. Смех ее был резкий, звонкий, прерывистый и неприятно болезненный. Несколько раз она как-то странно всхлипнула, стараясь удержаться, и, глядя на нервную судорогу ее лица, я понял, что все пережитое нелегко далось этой моложавой красавице. Тимофей посмотрел на нее с каким-то снисходительным вниманием. Она вся покраснела, вскочила и, собрав посуду, быстро ушла в лес. Ее стройная фигура торопливо, будто убегая, мелькала между стволами. Тимофей проводил ее внимательным взглядом и сказал:

– Э-эх, Марья, Марья! Пошла теперь... захоронится куда-нито, в самую глушь.

– Отчего? – спросил я.

– Поди ты! Нельзя смеяться-то ей. Как засмеется, то потом плакать. Об землю иной раз колотится... Порченная, что ли, шут ее разберет.

Я не мог разобрать, сочувствие слышалось в его тоне, сожаление или равнодушное презрение к порченной бабе. И сам он казался мне неопределенным и странным, хотя от его бесхитростного рассказа о полоске, распаханной днем, над ко-

торой всю ночь хлопочут темные фигуры дикарей, на меня повеяло чем-то былинным... «Что это за человек, – думал я невольно, – герой своеобразного эпоса, сознательно отстаивающий высшую культуру среди низшей, или автомат-пахарь, готовый при всех условиях приняться за свое нехитрое дело?»»

Несколько минут я ворочал в голове этот вопрос, но ответа как-то ниоткуда не получалось. Только легкий, протяжный и как будто мечтательный шорох тайги говорил о чем-то, обещал что-то, но вместо ответа веял лишь забвением и баюкающей дремотой... И фигура Тимохи глядела на меня без всякого определения...

– Тимофей, – обратился я к нему после некоторого молчания. – Что же, после этого вы бросили хозяйничать?

– Где бросить. Нешто можно это, чтобы бросить... Спыхали опять, заборонили, я ружьем пригрозил. Ну, все-таки одолели, проклятая сила. Главное дело, – заседателя купили. Перевели нас с Пётром Иванычем в другой улус, поближе к городу. Тут ничего, жили года два...

В глазах его опять засветился насмешливый огонек, и он сказал после короткого молчания:

– Потом разошлись. Не вышло, видишь ты, у нас дело-то. Я ему, значит, говорю: «Ты, выходит, Пётра Иванович, хозяин, я работник. Положь жалованье». А он говорит: «Я на это не согласен. Мы, говорит, будем товарищи, все пополам».

– Ну и что же? – спросил я с интересом.

– Да что: говорю – не вышло.

Он поглядел перед собой и заговорил отрывисто, как будто история его отношений к Ермолаеву не оставила в нем цельного и осмысленного впечатления...

– Отдал Ивану телку... шести месяцев. Я говорю: «Ты это, Пётра Иванович, зачем телку отдал?» – «Да ведь у него, говорит, нет, а у нас три». – «Хорошо, я говорю. Пущай же у нас три. Мы наживали... Он себе наживи!» Сердится! «Ты, говорит, мужик, значит, хресьянин. Должон, говорит, понимать». – «Ну, я говорю, ты, Пётра Иванович, ученый человек, а я телку отдавать не согласен...» – Ушел от него... К князю в работники нанялся...

– А за что вы сюда попали? – спросил я, видя, что этот предмет, очевидно, исчерпан.

– Мы-то? – Он взглянул на меня с оттенком недоумения, как человек, которому трудно перевести внимание на новый предмет разговора. – Мы, значит, по своему делу, по хресьянскому. Главная причина из-за земли. Ну и опять, видишь ты, склёка. Они, значит, так, мир, значит, этак. Губернатор выезжал. «Вы, говорит, сроки пропустили...» Мы говорим: «Земля эта наша, деды пахали, кого хошь спроси... Зачем нам сроки?» Ничего не примаает, никаких то есть резонов...

– Жена, дети остались у вас на родине?

– То-то, вот видишь ты. Жена, значит, померла у меня первым ребенком. Дочку-то бабушка взяла. Мир, значит,ся,

и говорит: «Ты, Тимоха, человек, выходит, слободной». Ну, оно и того... и сошлось этак-то вот.

Он, очевидно, не хотел вдаваться в дальнейшие подробности, да, впрочем, и без рассказа дело было ясно. Мир, бессильный перед формальным правом, решил прибегнуть к «своим средствам». Тимофей явился исполнителем... Красный петух, посягательство на казенные межевые знаки, может быть, удар слегой «при исполнении обязанностей», может быть, выстрел в освещенное окно из темного сада...

– Вы, значит, попали сюда за мир, – сказал я.

– То-то... выходит так, что за мир... Видишь ты вот.

– А мир вам не помогает в ссылке?

Он посмотрел на меня с недоумением.

– Мир-от? Да, я чаю, наши и не знают, где моя головушка.

– Да вы разве писем не писали?

– Я, брат, неграмотный. В Расее писал мне один человек, да, видно, не так что-нибудь. Не потрафил... А отсель и письмо-то не дойдет. Где поди! Далеко, братец мой! Гнали, гнали – и-и, боже ты мой!.. Каки письма! Этто, годов с пять, человек тут попадал, от нашей деревни недальной. «Скажите, говорит, Тимофею, дочку его замуж выдали...» Правда ли, нет ли... Я, брат, и не знаю. Может, зря.

Он сидел рядом со мной, завязывая обувь, и говорил удивительно равнодушно... Я глядел на него искоса, и мне казалось только, что его выцветшие от зноя и непогод серые глаза слегка потускнели. Некоторое время мы оба помолчали.

Думал ли он о далекой родине, о дочке, вышедшей неведомо за кого замуж, о мире, который не знает, где теперь «слободный человек» Тимоха, пострадавший за общее дело. Может быть, теперь никто, даже родная дочь, не вспоминает о нем в родной деревне, где такие же Тимохи в эту самую минуту тоже ходят за своими сохами на своих пашнях. И кто-нибудь пашет полоску Тимохи, давно поступившую в мирское равнение, как выравнивается круг на воде от брошенного камня... Был Тимоха, и нет Тимохи... Только разве у старухи матери порой защемит сердце и слеза покатится из глаз. И то едва ли: старуха, пожалуй, на погосте...

– То-то, – сказал он, помолчав. – Грешим, грешим... А много ли и всего-то земли надо? Всего, братец, три аршина.

Я понял, что для Тимохи не было утешения и в сознании, что он пострадал за общее дело: мир оставался миром, земля землей, грех грехом, его судьба ни в какой связи ни с какими большими делами не состояла...

И опять смутный звон леса затянул для меня все более определенные впечатления.

– Так и живете все? – спросил я через несколько минут.

– Так вот и живу в работниках на чужедальной стороне.

– Неужто нельзя было во столько времени устроить своего хозяйства?

Он почесал в голове.

– Оно, скажем, того... Просто сказать тебе... оно бы можно... И женился бы. Да, видишь ты, слабость имею. Денег

нет, оно и ничего. А с деньгами-то горе...

Он виновато улыбнулся.

– Четвертый год у Марьи живу. Хлеб ем, чего надо – купит... Не обидит... Не баба – золото! – прибавил он, внезапно оживляясь. – Даром что порченая... Кабы эта баба да в другие руки...

– А Степан?

– Что Степан! Вон, слышь, постреливает. На это его взять. Птицу тебе влёт сшибет, на озере выждет, пока две-три в ряд выплывут, – одной пулькой и снижет... Верно!

Он засмеялся, как взрослый человек, рассказывающий о шалостях ребенка.

– Ухорез, что и говорить. За удалство и сюда-те попал. С каторги выбежал, шестеро бурят напали – сам-друг от них отбился, вот он какой. Воин. Пашня ли ему, братец, на уме? Ему бы с Абрашкой с Ахметзяновым стакаться – они бы делов наделали, нашумели бы до моря, до кияну... Или бы на прииска... На приисках, говорит, я в один день человеком стану, все ваше добро продам и выкуплю... И верно, – давно бы ему на приисках либо в остроге быть, кабы не Марья.

Он помолчал и через некоторое время прибавил тише:

– Венчаться хочут... Все она, Марья, затевает. Они, положим, по бродяжеству вроде как венчаны.

Косая пренебрежительная улыбка мелькнула на его лице, и он продолжал:

– Круг ракитова кусточка, видно... Ну, ей это, видишь ты,

недостаточно, желает у попа.

– Да ведь он бродяга!

– То-то и оно: непомнящий; имени-звания не объясняет. Она то же самое. Ну, да ведь... не Расея. Знаешь сам, какая здесь сторона. Гляди, за бычка и перевенчает какой-нибудь.

Он неодобрительно вздохнул и покачал головой.

– А все Марья... Не хочется как-нибудь, хочется по-хорошему... Ну, да ничего, я ей говорю, у вас не выдет... Хошь венчайся, хошь не венчайся, толку все одно ничего!.. Слышь, опять выпалил...

– А вы, Тимофей, не любите Степана, – сказал я.

Он как будто не понял.

– Что мне его любить? Не красная девушка... По мне, что хошь... Хошь запали с четырех концов заимку...

И, окончив обувание, он встал на ноги.

– Нутра настоящего нет... человек не натуральный. Работать примется, то и гляди, лошадь испортит. Дюжой, дьявол! Ломит, как медведь. Потом бросит, умается... Ра-бот-ник!

Он понизил голос и сказал:

– Этто Абрашка-татарин приезжал. Она его ухватом из избы... А потом поехал я на болото мох брать, гляжу: уж они вдвоем, Степашка с татаринном, по степе-то выются, играют... Коней менять хочут. А у Абрашки и конек-то, я чаю, краденной.

Через несколько минут он уже ходил за сохой, внимательно налегая на ручку.

– Ну, ну, не робь, – поощрял он лошадь, – вылазий, милая, копайся... Н-нет, вр-решь, – возражал он кому-то, с усилием налегая на соху, когда какой-либо крепкий, не перегнивший корень стремился выкинуть железо из борозды. Дойдя опять до меня, он вдруг весь осклабился радостной улыбкой.

– Пашаничку на тот год посеем. Гляди, кака пашаничка вымахнет... Земля-то – сахар!

Он весь преобразился. Очевидно, в этой идее потонули для него все горькие воспоминания и тревоги, которые я расшевелил своими расспросами... И опять он пошел от меня своей бороздой, ласково покрякивая на лошадь... Скрипела соха, слышался треск кореньев, разрываемых железом, и стихийный говор леса примешивался к моим размышлениям о Тимохе, подсказывая какие-то свои непонятные речи.

У выхода из лесу, на самой опушке, взгляд мой остановила странная молодая лиственница. Несколько лет назад деревцо, очевидно, подверглось какому-то нападению: вероятно, какой-нибудь враг положил свои личинки в сердцевину, – и рост дерева извратился: оно погнулось дугой, исказилось. Но затем, после нескольких лет борьбы, тонкий ствол опять выпрямился, и дальнейший рост шел уже безукоризненно в прежнем направлении: внизу опадали усохшие ветки и сучья, а сверху, над изгибом буйно и красиво разрослась корона густой зелени.

И мне показалось, что я понял тихую драму этого уголка. Таким же стремлением изломанной женской души держит-

ся весь этот маленький мирок: оно веет над этой полумалорусской избушкой, над этими прозябающими грядками, над молоденькой березкой, тихо перебирающей ветками над самой крышей (березы здесь редки – и ее, вероятно, пересадила сюда Маруся). Оно двигает вечного работника Тимоху и сдерживает буйную удаль Степана.

IV. Белая ночь

Матово-белая, свежая ночь лежала над лугами, озером и спящей избушкой, когда я внезапно проснулся на открытом сеновале.

– Вы не спите? – спросил меня товарищ.

– Недавно проснулся.

– Ничего не слышали?

– Нет, а что?

– Мне показалось, будто кто плакал. Вероятно, хозяйка.

– Может быть, вам почудилось?

– Едва ли. Этот Степан, должно быть, жох. Как по-вашему?

– Вы с ним были дольше, чем я. Я только и слышал его рассказ.

– Бродяжья идиллия, – сказал он саркастически. – Вы уже, конечно, записали... Хотел бы я знать, есть ли тут хоть слово правды!

– Отчего же?

– Ну, да я знаю: у вас они все «искру проявляют». Вот и этот еще тоже с искрой, должно быть.

Он приподнялся и посмотрел на лежавшего рядом Тимоху, который, забившись лицом в сено, храпел и вздрагивал, точно в агонии. Очевидно, этот храп не давал спать моему товарищу и, кажется, разбудил и меня. Должен сознаться,

что и в позе Тимохи, и в его богатырском храпе мне тоже чудилось в эту минуту какое-то сознательное, самодовольное нахальство, как будто насмешка над нашей нервной деликатностью.

В тоне моего товарища я уловил знакомую ноту. Пустынные места и постоянное ограниченное общество, вне родственных и живых интересов, развивают особое, болезненное настроение. Разнообразие человеческой личности развертывается только навстречу разнообразию среды: без этого она застаивается и тускнеет. В таком настроении бородавка на щеке постоянного товарища, знакомый тон его голоса, слишком хорошо известные мнения вызывают глухое нерасположение, даже злобу. Припадки глубокой ипохондрии – специфическая болезнь пустынных мест, – и мы по взаимному договору старались не тревожить друг друга в такие минуты.

Поэтому, не отвечая ни слова на саркастические замечания товарища, в другое время относившегося к людям с большим добродушием и снисходительностью, я сошел с сеновала и направился к лошадям. Они ходили в загородке и то и дело поворачивались к воде, над которой, выжатая утренним холодком, висела тонкая пленка тумана. Утки опять сидели кучками на середине озера. По временам они прилетали парами с дальней реки и, шлепнувшись у противоположного берега, продолжали здесь свои ночные мистерии...

Я пустил лошадей к воде. Обе они вошли в озеро по грудь

и пили с жадностью, порой разбрызгивая воду, как бы сознательно наслаждаясь ее избытком. По временам они подымали морды и начинали прислушиваться к чему-то в тишине белой ночи. Я тоже невольно вслушался. Из-под тихого шелеста тайги чуть внятно проступал какой-то протяжный далекий звон... По мере того как чуткое ухо ловило его яснее, он принимал все более определенные, хотя и призрачные формы: то будто мерно звенел знакомый с детства колокол в родном городе, то гудел фабричный свисток, который я слышал из своей студенческой квартиры в Петербурге... А за ними вставал целый ряд таких же призраков-звуков, странно тревоживших душу каким-то щемящим очарованием.

Избушка тихо спала, тайга спокойно шевелилась и вздыхала. И вдруг какое-то жуткое по своей определенности ощущение – бессознательный вывод из накопившихся впечатлений – встало в моем воображении... Что слышится обитателям этого угла в голосах пустынной ночи или когда кругом завоет зимняя метель? Какие призраки шлет им эта чуткая, будто насторожившаяся тишина пустыни? Куда она зовет их, к чему она их манит, что обещает? Удастся ли Марусе удержать завязавшуюся жизнь этого поселка, или прав лаконичский Тимоха со своими пессимистическими предсказаниями: все это не настоящее, раз сломанной душе уже не выпрямиться и чуткая враждебность пустыни одолеет ее усилия?..

В избежке скрипнула дверь. На пороге показался Сте-

пан. Он постоял несколько секунд, посмотрел на небо, потом лениво пошел в лес, захватив предварительно узду. Через несколько минут послышался резкий топот, и Степан выехал из лесу на буланом жеребчике. Лошадь бежала как-то капризно и резво; подъехав к берегу озера, Степан спрыгнул на бегу и, напоив коня, привязал его к городьбе. Когда затем он опять подошел к берегу, глаза его были тусклы, точно чем-то завешены. Он остановился и стоял над водой молча и неподвижно. Вероятно, его тоже захватили таинственные голоса пустынной ночи. Через минуту он вздрогнул, как будто от холода...

– Свежо! – сказал я, чтобы привлечь его внимание. Он оглянулся, но как будто даже не сразу заметил меня. Потом так же машинально подошел и сел рядом со мной на бревно. Мне показался он странным, как будто даже больным. Вчера в нем было заметно оживление человека, потянувшегося навстречу новому знакомству. Теперь он покорно, без мысли отдавался какому-то внутреннему настроению...

По верхушкам леса потянулся гул от предутреннего ветра... Деревья сначала заговорили глубоким хором, потом гул рассыпался на отдельные голоса, пошептался и начал стихать.

Степан повернулся в сторону леса, как только что на мой оклик.

– Ветер, – сказал он с тем же малоосмысленным выражением и вдруг посмотрел на меня взглядом, полным глубокой

тоски.

– Мочи нет, – сказал он с приливом внезапной откровенности. – Поверите, никакой возможности моей...

– Что же такое, Степан? – спросил я с невольным участием.

– Выйдешь на озеро... все эта тайга шумит... Кругом пусто... Да еще вот эти проклятые.

С неожиданной яростью он схватил ком сухой грязи и кинул в туман, лежавший над озером. Там, точно сквозь матовое стекло, виднелись неясные, увеличенные контуры птиц. Когда комок шлепнулся среди них, в туманной дымке слегка зашевелились грузные очертания...

Однако резкое движение и плеск на озере, по-видимому, несколько привели его в себя. Он сел опять и опустил голову на руки.

– Трудно здесь жить, господин...

– Ну, что ж, Степан. Вам бы и в самом деле на прииски.

– Маруся не идет.

– Ну, вы бы на зиму уходили, а летом опять сюда... Зарабатывали бы там, и в хозяйстве подспорье. А здесь Маруся с Тимофеем справятся.

Он повернулся ко мне и долго глядел в глаза, как будто что-то выпытывая.

– Нет, господин... Это нельзя... Это уже значит... конечно...

Потом, помолчав, он спросил:

– А вы Тимофея откуда знаете?

– Вчера был у него на расчистке.

– И Марья там была?

– Была.

– Ну-ну! Вы не смотрите на него, на Тимофея. Парень не простяк...

И опять ко мне повернулись светлые глаза на еще более потемневшем лице. В них теперь ясно проступило выражение ненависти. Я подумал, что это та же знакомая нам болезнь пустынных мест и ограниченного общества... Только враждебные чары пустыни произвели уже более глубокие опустошения в буйной и требующей сильных движений душе. В эту минуту из троих обитателей заимки к настроению Степана я почувствовал наиболее близости и симпатии.

Опять скрипнула дверь, показалась Маруся. Потом неуклюжая фигура Тимохи сползла по лестнице с сеновала. Маруся принялась доить коров, Тимоха запряг лошадь и привез к огороду огромное полубочье воды для поливки. Замычали коровы и телята, на заимке начинался день... Небо над верхушками гор слабо окрашивалось, но мы находились еще в длинной тени, покрывшей всю равнину... Кроме того, по небу развесилась топкая подвижная пелена тумана...

Часа через полтора мы выехали с заимки втроем. Степан ехал с нами. У его седла висели большие кожаные переметы – очевидно, его путь был не близок. Лицо его было опять спокойно, даже весело.

Доехав до проезжей дороги, он указал нам наше направление, а сам повернул к реке. Через некоторое время мы увидели на другой стороне ее небольшую темную точку, подымавшуюся по меловым уступам крутого берега.

– Зачем это его понесло за Нелькан? – задумчиво спросил мой товарищ.

– А вы знаете, что он поехал туда?

– Да. Говорит – к попу. Врет, должно быть! Какие у него дела с попами? Правду сказать, подозрительна мне вся эта идиллия.

– Думаю, что вы ошибаетесь, – сказал я, не вступая, однако, в спор. Мне вспомнились слова Тимофея о желании Маруси. В той стороне, куда ехал теперь Степан, лежали дальние якутские улусы, а затем – тунгусская пустыня, в которой нет ни церквей, ни приходов в нашем смысле... Кое-где только, в тайге, стоят наглухо заколоченные часовенки, открывающиеся к редким приездам священников. Эти бродячие пастыри постоянно объезжают свое стадо, рассеянное на невообразимых пространствах, венчая супругов, у которых давно бегают дети, крестя подростков и отпевая умерших, кости которых давно истлели в земле. Удаленность от епархии и постоянные узаконенные обычаем отступления от канонических правил делают их особенно снисходительными к разного рода формальным препятствиям, и я догадался, что, вероятно, Степан направляется к такому попу, прикочевавшему, быть может, к границе своего огромного прихода,

чтобы удовлетворить заветному желанию Маруси.

Скоро темная точка на горной тропе исчезла... Наши лошади бежали опять колеями якутской дороги, срывая сочную траву с луговыми цветами...

V. Война

Я ничего не узнал о результате переговоров Степана с попом.

Степан и Марья были два раза в слободе и останавливались у нас, как уже знакомые. Степан оживлялся на людях, Маруся была по-прежнему молчалива и необщительна. Год выдался плохой, хлеб во многих местах побилло ранними заморозками, но у Маруси все уродилось хорошо. Ее огурцы, которые она солила каким-то особенным способом, пользовались известностью даже в городе, и случалось – за ними приезжали нарочные казаки за полтораста верст. Этому не следует удивляться: расстояния совсем не пугают в этих дальних, редко населенных местах. Один американский путешественник по Сибири с удивлением рассказывал в своей книге, как однажды около Колымска его нагнал посланный губернатором казак, чтобы почтительно вручить ему портсигар и круг мороженого масла, забытые им на станции в Якутске. А от Якутска до Колымска более полутора тысяч верст!

Впрочем, по большей части Маруся сбывала свои продукты поляку-торговцу, который торопился доставить их приискателям. Дела свои она вела спокойно, деловито и твердо.

– Кремень баба! – говорил о ней торговец, причем в тоне его слышалось благоволение к красивой смуглянке и уважение к хорошей хозяйке.

Степан без особого дела бродил по слободе, заходил к татарам и приценивался к лошадям, делая вид, что хочет выменять своего буланка. Иной раз он возвращался к ночи чуть-чуть навеселе, но не пьяный. Вообще я присматривался к своим гостям и спрашивал себя с удивлением: неужели то, что мелькнуло передо мной в белую ночь на дальнем озере, — только моя фантазия?..

Между тем незаметно подходила осень. Уже с августа утренники крепко стискивали землю. К середине дня она едва успевала оттаять под косыми лучами солнца, как уж с ранних сумерек ее опять начинало примораживать. Воздух был чист и прозрачен, звуки неслись отчетливо, ясно, далеко, копыта лошадей звонко стучали по голой, но уже скованной земле...

В один из таких дней телега Маруси и Степана опять остановилась у наших ворот. День был холодный и ясный, кроме того, была суббота, и на улице виднелись кучки татар. Прямо против нашего двора, на завалинке, сидел мой сосед, татарин Абрашка, тот самый, которого Маруся выпроводила от себя ухватом. Он был навеселе и как-то иронически окликнул Степана, когда тот стал снимать жерди наших ворот. В татарской фразе мне послышалось также имя Маруси.

Молодая женщина сохранила презрительное молчание. По ее лицу можно было подумать, что она даже не слышала. Но лицо Степана внезапно вспыхнуло, белокурые усы и брови выступили резко и неприятно. Он ничего не ответил

и стал вводить лошадь в открытую городьбу.

Абрашка громко засмеялся. Его поддержали сидевшие рядом соседи.

Абрам Ахметзянов был человек в своем роде замечательный. Как сам он, так и его жена Гарифа, которую, впрочем, в слободе называли Марьей, совсем не были похожи на монголов. У него было круглое лицо, очень смуглое, правда, но с мягкими правильными чертами, и большие, ласкающие, добрые глаза... Она же представляла из себя типическую русскую красавицу, несколько располневшую, с бойким и, что называется, «бедовым» взглядом. Абрашка любил ее до безумия, но про нее говорили, что она нередко ему изменяла. Однажды ночью, вернувшись неожиданно домой, он зачем-то стрелял около своей юрты. Говорили на другой день, что меховая шапка некоего Абдула Сабитуллина оказалась простреленною дробинами и что только густо вышитая тюбетейка спасла его лысую голову. Сабитуллин был богатый старик... Некоторое время он опасался ходить мимо избы Абрама, а однажды последний, неожиданно встретясь с ним на улице, кинулся на него, как кошка. Старого Абдула едва вырвали из рук испугленного Абрашки. Но я видел Абрама и Марью на третий день после выстрела: она держала себя с таким же сознанием своей опьяняющей, чувственной красоты, а он смотрел на нее таким же покорно влюбленным взглядом.

Он пользовался репутацией самого отчаянного головоре-

за и ловчайшего вора. Я долго не хотел верить этому. Он был нашим ближайшим соседом и нередко оказывал мне и моим товарищам соседские услуги. При этом в глазах его светилось такое простодушное расположение, что я не мог примириться с этим молву об его подвигах. Только однажды, после какого-то нового двусмысленного происшествия с Марьей, он сильно пил несколько дней и пришел ко мне под вечер возбужденный и несколько дикий.

Некоторое время он сидел на лавке, глухо стонал, покачивался и глядел перед собой мутным взглядом. Потом взгляделся в меня и, как будто узнавая, где находится, сказал:

– А! вот это я у кого. Так! Слушай, русский, что я тебе буду говорить.

– Говори, Абрам, что тебе нужно?

– Уезжаете вечером... приезжаете ночью... Дом бросаете пусто...

– Так что же?

– Тронули у вас что-нибудь татаре?

– Нет, не тронули.

– Водки поставь... Одну бутылку. Выпей, брат, с Абрашкой!..

– Нет, Абрам, – ответил я по возможности спокойно. – Водки я не поставлю.

– Почему не поставишь?

– Ты сам знаешь: мы к вам водку пить не ходим. Чаю, если хочешь, заварю, а откупаться от вас мы не станем.

В глазах Абрама промелькнуло сознание.

– Что ты! Брат! – сказал он как-то страстно. – Неужто, сохрани бог, я за этим. Абрам Ахметзянов не каплюжник... Пьян только Абрашка. Сердце загорелось... водки надо... много водки надо. А Марья, брат, не дает...

Последнюю фразу он произнес каким-то жалким шепотом. Потом, внезапно поднявшись, он подошел ко мне, положил руку мне на плечо и, крепко сжав его, наклонил ко мне свое пылающее лицо. Глаза его были такие же добрые, только стали как будто больше и искрились почти восторженно...

– Что вы за люди? – сказал он. – Я не знаю, что вы за люди... А я вот какой человек... Ах, бр-рат!.. Ежели бы мне не Марья... давно бы я себе каторгу заработал!

Я был поражен глубиной и непосредственностью этого восклицания. Тут была и тоска о пропадающей удали, и глубочайшая нетронутая уверенность, что, каковы бы там ни были еще люди и взгляды, все-таки наиболее стоящий человек тот, кто смело носится по самым крутым стремнинам жизни... Только оступись... попадешь прямо на каторгу.

Только в эту минуту я понял настоящим образом Ахметзянова со всей его «невинной» преступностью, – право, я не подыщу тут другого слова... С этими взглядами Абрам вырос и сжился. Он чувствует в себе силы для крупной роли в родной сфере, а между тем приходится тратить их на мелкие подвиги баранты и воровства, в то время как его имя могло греметь наравне с именами Никифорова и Черкеса – весь-

ма известных в те годы на Лене спиртоносов и хищников золота... Я понял также, почему Тимоха ставил имя Степана рядом с Абрашкой... В жизни обоих «бабы» играли почти одинаковую роль, и, как это часто бывает, Абрам Ахметзянов презирал Степана за то самое, за что, вероятно, презирал и себя...

В этот самый день Степан все-таки зашел к Ахметзянову, который занимался корчемством. Ушел он туда в отсутствие Марьи, но она вернулась от торговца раньше. В лице ее я заметил какое-то нервное беспокойство. Она ждала, тревожно прислушиваясь, и внезапно вздрогнула, когда снаружи донесся к нам глухой смешанный шум.

Я вышел на двор и увидел Степана. Необыкновенно возбужденный, он быстро шел от избы Абрама. Видимо, он сейчас выдержал свалку с кучкой татар, которые скалили зубы и смеялись вдогонку.

Дойдя до середины улицы, он обернулся и погрозил кулаком.

– Посмеетесь вы у меня, погодите! – бормотал он, уже войдя в наш двор и не обращая внимания на меня.

Не заходя в избу, он вывел плохо отдохнувшую лошадь и стал запрягать ее в телегу.

– Куда вы так торопитесь, Степан? – спросил я.

– Надо домой... Только вот как бы снег не застиг. – Он глазами указал на небо.

Я тоже взглянул кверху. Едва перевалив через цепь отло-

гих холмов на северо-западе, – к нам ползло тяжелое свинцовое облако. Оно было громадно и странно своим одиночеством на холодном и ясном небе. Вверху резко отграниченное, точно спина огромного животного, внизу оно спустило несколько темных отростков, которые тихо, зловеще шевелились, опускаясь все ниже, точно чудовище перебирало гигантскими щупальцами. Но что было всего страннее, – облако ползло совсем низко над землей, вздрагивая, как будто теряя силы в своем полете и готовое упасть на слободу всей своей грузной массой...

Слобожане уже обратили на него внимание. В юртах хлопали двери, люди выбегали с любопытством или тревогой. Впрочем, аборигены смотрели на небо довольно спокойно, но татары и особенно киргизы волновались и переговаривались громко и тревожно. Полусумасшедший киргиз, живший невдалеке, прицелился из ружья и выстрелил...

Облако, все так же вздрагивая, как будто с напряжением, раскинулось уже над крайними юртами слободки. Все кругом потемнело и потускло. Все притихли, когда над нашими головами, тихо волнуясь и шевеля мглистыми отростками, темно-свинцовое, с опаловыми просветами, проползало туманное чудовище, готовое, казалось, задеть за крыши притихшей слободки... Через несколько минут оно пронеслось над рекой. Плотные очертания тучи закрыли оскалины и леса горного берега... Когда туча исчезла за гребнем, – на уступах, точно нарисованные гигантскою кистью, белели густые

полосы снега...

Я очнулся точно после странного сна... Над слободкой опять играли последние лучи скупого осеннего солнца... Люди еще волновались, громко обсуждая значение странного явления. В дверях нашей избы стояла Маруся с омертвевшим, испуганным лицом... Она опять показалась мне постаревшей и изменившейся... Увидев, что Степан запряг лошадь, она наскоро собрала свои пожитки и, не прощаясь, не глядя на меня, как будто болезненно стыдясь показать свое лицо, вышла из избы и села в телегу.

Я попробовал было остановить их. Мой товарищ на время уехал, в юрте было довольно свободно, а я чувствовал себя одиноким, но Степан отказался наотрез.

– Нет, господин! – сказал он, выводя лошадь. – Теперь начнутся метели, пора пойдет темная... А я, кстати, с татарами тут расплевался...

Он ударил лошадь и, проехав по широкой улице, спустился с луга. Там мне еще некоторое время виднелась телега с двумя темными фигурами, постепенно утопавшими в сумерках.

А пора, действительно, начиналась темная. Осень круто поворачивала к зиме; каждый год в этот промежуток между зимой и осенью в тех местах дуют жестокие ветры. Бурные ночи полны холода и мрака. Тайга кричит не переставая; в лугах бешено носятся столбы снежной колючей пыли, то покрывая, то опять обнажая замерзшую землю.

И вместе с темнотой, с бурями и метелью в слободе и окрестностях водворилась тревога.

Почти половину населения слободки составляли татары, которые смотрели на этот сезон с своей особой точки зрения. Мерзлая земля не принимает следов, а сыпучий снег, переносимый ветром с места на место, – тем более... Поэтому то и дело, выходя ночью из своей юрты, я слышал на татарских дворах подозрительное движение и тихие сборы... Фыркали лошади, скрипели полозья, мелькали в темноте верховые... А наутро становилось известно о взломанном амбаре «в якутах» или ограблении какого-нибудь якутского богача.

Якуты старались защищаться, иногда мстить. Один мой приятель, полуякут Сергей, знакомивший меня на первых порах с особенностями местной жизни, так характеризовал взаимные отношения слободы и ее окрестностей в это темное время:

– Война! Татар у джякут воровай, джякут у татар воровай... взад-вперед.

Но в сущности полной взаимности в этих отношениях не было. Якуты – народ мирный и робкий: они старались только защищаться. Правда, стоило татарской лошади забежать в улус, подальше от слободы, и она тотчас же попадала в якутский котел на общую пирушку. Но в остальном якуты ограничивались защитой, почти всегда неумелой и трусливо-наивной. Их одинокие разбросанные юрты переживали весь ужас беззащитного ожидания. Проезжая иной раз но-

чью по наследным дорогам, можно было услышать вдруг отчаянные вопли, точно где-то режут сразу несколько человек. Это население юрты, в которой две или три семьи сошлись на долгую холодную зиму, предупреждало неведомого путника, едущего мимо по темной дороге, о том, что они не спят и готовы к защите. Только эти угрозы производили скорее впечатление испуга, почти мольбы. Порой за ними следовали беспорядочные, такие же испуганные выстрелы в воздух. Все это, разумеется, было только на руку предприимчивым и смелым татарам, выжидавшим, пока якуты настреляются и накричатся, и тогда они тихо, но свободно шли на добычу.

А осень все злилась, снег все носился во тьме, гонимый ветром, стучал в наши маленькие окна, и кругом нашей юрты по ночам все слышалось тихое движение то в одном, то в другом татарском дворе. Мой верный Цербер, которого я брал к себе в юрту из чувства одиночества, то и дело настораживал уши и ворчал особенным образом – как природные якутские собаки ворчат только на татар или поселенцев...

Я чувствовал себя, в своей юрте на отшибе, в своеобразном положении, точно на островке, кругом которого в мгlistом туманном море кипела своеобразная деятельность пиратов. Порой я догадывался, кто именно из моих добрых соседей выезжает «в якуты» на промысел или в лес с добычей, которую необходимо спрятать... Порой во мне закипало глухое негодование...

Однажды в слободу, занесенные снегом, постукивая перед

собой палками, вошли слепые старик со старухой. Это были несчастные, бездомные старики, ходившие по богатым якутам и зарабатывавшие пропитание помолом зерна на ручных мельницах, на каких, вероятно, мололи еще рабыни Одиссея. Такая мельница есть в каждой якутской юрте. На стойке, в половину человеческого роста, укреплен неподвижно небольшой жерновой камень. Другой свободно ходит над ним на железном стержне и цевке. Длинная палка, одним концом укрепленная у потолка, другим может вращать верхний камень. Человек вертит ею жернов, засыпая горстью зерна в отверстие. Камни тихо и скучно жужжат, мука медленно, почти незаметно струится на стол кругом жернова. За помол пуда платят от пятнадцати до двадцати копеек.

Этой работой старики долго копили деньги и наконец купили себе теплые шубы и одеяла в виде мешков на зиму и на старость. Это была для них настоящая драгоценность, о которой они долго мечтали. Я видел, как летом они выносили свои сокровища и вытряхивали из них пыль. Разложив их на земле, старик нащупывал левой рукой место, а правой ударял гибким прутом. По инстинкту слепого он редко ошибался, но все-таки порой удар попадал по кисти... Потом он передвигал руку и ударял рядом... Эту же работу старики исполняли у других, когда не было помола.

Теперь они шли по улице, озябшие и несчастные. Слезы текли из слепых глаз старухи и замерзли на лице. Старик шел с какой-то горестной торжественностью и, постукивая

палкой по мерзлой земле, поднимал лицо высоко, как будто глядя в небо слепыми глазами. Оказалось, что они шли «делать бумагу» в управе. В эту ночь из амбара якута, у которого они зимовали, украли их сокровища, стоившие нескольких лет тяжелого труда...

Выходили слобожане, выходили татары и смотрели на эту чету и слушали переходивший из уст в уста рассказ. Абрам тоже стоял у своих ворот и смотрел на стариков своими добрыми ласкающими глазами.

– Здравствуй, – окликнул он меня, – что идешь мимо, не говоришь?

Я как-то невольно повернулся и подошел к нему вплоть.

– Слушай, Абрам, – сказал я. – Хорошо это?

Он посмотрел немного вкось и ответил обычным ласковым голосом:

– Брат! Не я ведь это сделал.

И потом, поглядев вслед старикам, он прибавил задумчиво:

– Видно, положили свое добро с хозяйским вместе...

– Не отдадите ли теперь? – усмехнулся я желчно...

Абрам не сказал ничего. Но через несколько дней он как-то встретился мне на улице. С ним рядом шел незнакомый татарин, длинный, как жердь, и тощий, как скелет. Поравнявшись со мной, Абрам под влиянием какой-то внезапной мысли вдруг шагнул в сторону и очутился передо мной.

– Слушай, теперь я тебе буду говорить, – сказал он. –

Вот этого татарина пригнали в наслег. Жена померла дорогой... четверо детей... ничего нет... голодом сидели, топиться нечем...

– Правда! – глухо сказал высокий татарин и мотнул головой. Но мне не нужно было его подтверждения: голод и застывшее отчаяние глядели у него из глубины впалых глаз, а от темного лица веяло каким-то смертельным равнодушием.

– Просил, кланялся на собрании... Наконец принес детей в управу и кинул, как щенят: делайте, что хотите. Хошь, говорит, бросьте в воду...

– Сама сюда гулял, – пояснил татарин.

– Понял ты мое слово? – спросил Абрам, глядя на меня загоревшимся, пылающим взглядом. Я понял, что это ответ на мой упрек по поводу стариков и что в слободе прибавился еще один предприимчивый человек.

Но это было, как я сказал, несколько дней спустя. В тот вечер я возвращался домой весь еще под впечатлением слепого горя обокраденных стариков. Ночь спускалась ненастная и бурная. Кругом юрты все гудело, над крышей отчаянно бился хвост искр и дыма, которые ветер нетерпеливо выхватывал из трубы и стлал по земле. На втором дворе, куда я пошел, чтобы дать лошади сена, мой Серый метался, как бешеный. Сначала и от меня он кинулся в испуге, но потом подошел, храпя и вздрагивая, и положил мне голову на плечо. Он стриг ушами и в испуге прислушивался к протяжному крику тайги, налетающему с темных холмов и ущелий.

А кругом бесновалась какая-то волнистая муть, быстро мчавшаяся с холмов за реку... Слобода притаилась под метелью, как вообще привыкла притаиваться под всякой невзгодой. По временам только среди белого хаоса мелькал вдруг сноп искр из трубы или в прореху метели открывалось и опять исчезало смиренно светившееся оконце...

Я начинал понимать в эту минуту настроение наших деревень, то смиренно выносящих непокрытую наглость любого молодца, освободившегося от совести и страха, то прибегающих к зверскому самосуду толпы, слишком долго испытывавшей смиренный трепет... Половина слободки держит в таком трепете не только другую, большую половину, но и все окрестности. И вот теперь, в эту метель, то в той, то в другой юрте робко скрипит дверь, – хозяева осторожно выглядывают, – что это стучит у амбара, грабитель или непогода? А где-то плачут двое обездоленных стариков, и на много верст кругом раздаются бессмысленные вопли и не менее бессмысленные выстрелы запуганных людей... И я стою здесь среди метели... Я не пловец в этом море, моего места нет в этой борьбе; я здесь не умею ступить ни шагу. И казалось мне, что нигде, во всем этом затянутом метелью, беззащитном мире нет никого, кто встал бы смело и открыто за свое право... Те, казалось мне, кто хотел бы что-нибудь сделать, – неумелы, бессильны, малодушны. А те, кто могут, – не хотят... Каждый только дрожит за себя, и нет никого, кто бы понял, что его дело – часть общего дела...

С этими мыслями я вернулся в свою юрту, но не успел еще раздеться, как моя собака беспокойно залаяла и кинулась к окну. Чья-то рука снаружи смела со стекла налипший снег, и в окне показалось усатое лицо одного из моих соседей, ссыльного поляка Козловского.

– Спице себе! – сказал он шутливо. – А лошадь-то где?

Я наскоро оделся и выбежал наружу. Первой моей мыслью было, что лошадь мою угнали. Но это оказалось неверно. Испуганная метелью и непривычным одиночеством, она перепрыгнула через высокую городьбу и побежала в луга. Козловскому сообщил об этом Абрам, видевший, как лошадь промчалась мимо его двора. Оба они были уверены, что она убежала за реку в якутские наслеги. В спокойное время это было не особенно опасно, но теперь якуты могли счесть лошадь татарской... Приходилось тотчас же ехать на поиски. Козловский дал мне свою лошадь, а на другой вызвался сам ехать со мною...

Это был крестьянин, замешанный в восстании и отбывший каторгу. После этого многие из его товарищей возвратились на родину, а он, попав в эти дальние места, почувствовал, как и Тимоха, что это очень далеко и что ему отсюда уже нет возврата. Он женился на слобожанке-полуякутке, его девочки говорили только по-якутски, а сам он пахал землю, продавал хлеб, ездил зимой в извоз и глядел на жизнь умными, немного насмешливыми глазами. Ему казалось смешным многое в прошлом и настоящем, а между прочим и то,

что он, Козловский, хотел когда-то спасти свое отечество, и что он живет в этой смешной стороне с пятидесятиградусными морозами, и что его собственная жена полуякутка, и что его дети лепечут на чужом для него языке. К нам он чувствовал какое-то снисходительное расположение, любил молча слушать наши споры, но при этом всегда под его огромными усами шевелилась мягкая насмешливая улыбка...

– Помяните мое слово, – сказал он мне, когда мы тронулись в путь, – эту ночь татары опять собираются за добычей... Плачут якутские амбары.

– Почему вы думаете?

– Абрашка ладит сани и две верховые во дворе. А вы еще скажите – слава богу: Абрам спал бы, лошадь бы вашу не увидел... В какую только сторону поедут?..

Дорога наша подбежала к реке и прижалась к береговым утесам. Место было угрюмое и тесное, справа отвесный берег закрыл нас от метели. Отдаленный гул слышался только на далеких вершинах, а здесь было тихо и тепло. Зато тьма лежала так густо, что я едва различал впереди мою белую собаку. Лошади осторожно ступали по щербню...

Вдруг Козловский наклонился и остановил за повод мою лошадь.

– Тише, – сказал он. – Слышите?

Я прислушался, и мне показалось, что с другого берега реки, которая здесь была очень узка, несло к нам, точно эхо, осторожное постукивание копыт.

– Вот проклятые! – сказал он с оттенком удовольствия в голосе. – Взялись за ум!

– Что это значит? – спросил я.

– Якутский караул. Прослышали, видно, якутье, что татары собираются... ждут гостей... Эх! Вот только неприятно, как бы нас за татар не приняли. Пожалуй, сдуру грохнет который из ружья... Эй, догор! – крикнул он по-якутски. – Не попала ли вам тут серая лошадь?

Шаги на той стороне стихли, но, когда мы подъехали к броду, на темной реке послышалось шлепанье и появились какие-то силуэты. Через несколько минут к нам приблизился всадник, ведя в поводу серую лошадь. Когда он подъехал вплотную, я с удивлением узнал Степана.

– Как вы тут очутились? – спросил я с невольной радостью.

– Да так... дело тут... у якутов, – ответил он уклончиво. – Гляжу: лошадь знакомая переправляется. Поймал уже на том берегу... думаю: надо обождать маленько, может, хватитесь, приедете... А это кто с вами? – спросил он, наклоняясь в седле и вглядываясь в моего спутника.

– Человек божий, обшитый кожей, – ответил мазур своим веселым голосом. – Поехал вот с ними, думаю: может, бог даст, и моя конячка найдется.

– Тоже пропала? Когда? – спросил Степан.

– Да уже года два... Убежала с покосу, да еще, подлая, поселенца на себе унесла. Лошадь – бог с ней. Боюсь, как бы

за поселенца не ответить.

Мне показалось, что шутка Козловского немного задела Степана, и, чтобы прекратить разговор, я поблагодарил за услугу и спросил:

– А вам не по пути в слободу? Переночевали бы у меня.

– Нет, – ответил Степан... – Я тут... к приятелю...

– Абрашка тоже к приятелю наладился, – насмешливо кинул Козловский, когда мы тронулись в обратный путь. Степан, отъехавший на некоторое расстояние, остановился было, как будто с целью спросить или сказать что-то, но затем ударил лошадь и съехал с берега.

– Счастье людям! – сказал Козловский, весело ухмыляясь. – У других воруют, вам возвращают. Один вор увидел, как лошадь сбежала, другой поймал...

– Ну, Степан не вор, – сказал я.

– Разумеется... А как вы думаете: кого он тут дожидается? У Абрашки с утра конь на привязи, у Абясова, у Сайфуллы, у Ахмета... Черт их бей, всех. Давайте скорее выезжать из узкого места, как бы не встретиться.

– Но ведь с татарами Степан в ссоре?..

– Ну, мужик с бабой тоже весь день ссорились. А, глядишь, к ночи помирятся...

Замечания Козловского поразили меня самым неприятным образом. Мне импонировала уверенность, с какой он читал все среди этой темной ночи, точно в открытой книге... И действительно, его предсказание оправдалось. Выехав из-

за последнего берегового утеса в луга, мы вдруг наткнулись на несколько темных верховых фигур. Они сначала остановились, как будто в нерешительности...

– Что, нашел своего серого? – сказал один из них, и по голосу я узнал Абрама. – Скоро же! Я думал, до утра проедем.

Потом, когда они отъехали несколько сажень, он повернул лошадь, догнал нас и сказал своим ласковым, приятным голосом:

– Вот что, парень... Мы ведь соседи... Не рассказывайте никому, что нас здесь видели...

– Нам какая надобность, – угрюмо ответил Козловский, не останавливаясь.

Остальную дорогу мы ехали молча. Меня тяготило положение этого невольного, почти дружественного нейтралитета, который выпадал на нашу долю... Может быть, Козловский думал то же.

VI. Степан

Проснувшись на следующий день, я сначала считал всю эту ночную поездку просто сном. Только кинутое беспорядочно на полу седло и не успевшее высохнуть верхнее платье убедили меня в действительности моего маленького приключения...

Несмотря на то, что все окна были занесены снегом, я чувствовал, что день стал светлее вчерашнего. У дверей лаяла собака, и, когда, наскоро надев валенки, я впустил ее, она радостно подбежала к постели и, положив на край холодную морду, глядела на меня с ласковым достоинством, как будто напоминая, что и она разыскивала со мною лошадь, которая теперь ржала на дворе, привязанная в наказание к столбу...

Настроение у меня было бодрое, радостное. Однако скоро под этим настроением оказалась какая-то маленькая змейка, которая шевелилась и шипела, напоминая о чем-то отравляющем и печальном...

– Да! Это о Степане, – вспомнил я внезапно...

«Неужто Козловский прав? – подумал я с ощущением острой грусти... – Неужели Степан оказал мне услугу именно потому, что ожидал татар? Не выдержал наконец говора своей тайги, прозаической добродетели своей Маруси и ровной невозмутимости Тимохи?.. Захотелось опять шири и впечатлений? Что мудреного? Ведь вот даже мое легкое при-

ключение освежило и обновило мое настроение, застоявшееся от тоски и одиночества...

Что же теперь станет делать Маруся? Как пойдет ее жизнь? Бурные сцены или покорные слезы?.. Примирение и подчинение или разрыв? Неужели тихая заимка на дальнем озере превратится в склад краденых вещей и в передаточный пункт конокрадства? Уйдет ли при этом Тимоха или будет делать свое дело, не вмешиваясь в хозяйские дела? И скоро ли нагрянут на заимку власти из Якутска и для Марьи со Степаном опять пойдут этапы, тюрьмы, новые попытки побегов? А на заимке воцарится запустение и Марусины грядки зарастут наподобие губернаторских огородов?..»

В моих сенях послышался топот, в дверь хлынула струя свежего воздуха, и в юрту вошел Козловский. Он был несколько похож на гнома: небольшого роста с большой головой; белокурая борода была не очень длинна, но толстые пушистые и обмерзшие теперь усы висели, как два жгута. Серовато-голубые глаза сверкали необыкновенным добродушием и живым, мягким юмором.

– Ну, вставайте, – сказал он, усмехаясь. – Давайте чаю. Новости расскажу.

– Что такое?

– В слободе что делается, – страх! – говорил он, отряхая на пол белые комки свежего снега.

И, опять весело засверкав глазами, он сказал:

– Смотрите: татары теперь скажут, что непременно это вы

сделали! А я с вами, помните, не был!..

Затем он рассказал новость, поразившую слободу как громом. Оказалось, что в эту ночь татары предпринимали один из очень смелых набегов на юрту зажиточного якута, именно в том направлении, куда мы вчера ездили. Очень часто якуты знали заранее о сборах татар, но последние почти всегда направляли их внимание в ложную сторону. На этот раз, однако, смельчаки встретили противников готовыми. Когда, оставив лошадей в определенном месте, они стали подходить к амбару, навстречу им раздался дружный ружейный огонь, и в то же время другой отряд якутов кинулся к татарским лошадям. Бросившись назад, татары успели отбить двух лошадей, а две, и притом лучшие, остались военной добычей победителей. Садясь попеременно на оставшихся коней, четверо татар с позором притащились в слободу едва на заре...

В числе потерпевших был и Абрам Ахметзянов. Каурого конька, которым он гордился, как лучшим бегуном в слободе, теперь в его дворе не было.

Слобода кишела, точно муравейник. Двери то и дело хлопали в наклонных стенах юрт, соседи и соседки перебежали от двора к двору, кое-где татары громко ругались друг с другом. Татарское население слободы было самое разношерстное. Тут были и киргизы, и ачинские татары из азиатской степи, и старинные поселенцы Иркутской губернии. Всех их привела сюда, выбросив из более или менее мирной среды их соотечественников, не заглушенная культурой страсть к

баранте. Здесь их объединили религия и нужда, – но и в их среде были подразделения, вражда и ссоры. Теперь, при этом поражении, деморализация среды сказалась с особенной силой: татары закидывали друг друга упреками и подозрениями в измене. Они не могли себе представить, чтобы трусливые и недогадливые якуты могли провести эту кампанию по своей инициативе.

– А знаете что, – задумчиво сказал мне Козловский, когда мы сидели за чаем. – Вы пока никому не говорите о Степане.

– Почему?.. Не ждете ли вы, что начнется следствие?

– Ка-кое следствие! А все-таки помолчите.

И он прибавил, улыбаясь:

– Я его святому должен поставить свечку... Кажется, вчера я его обидел напрасно.

– Так вы думаете, что это он... помогал якутам?

– Ага! А по-вашему, якутье сами бы так распорядились? Никогда! Уж был у них кто-нибудь за генерала!.. Ну, теперь пойдет потеха!

Действительно, с этих пор якуты переменились, как будто кто вдохнул небывалое мужество в сердца этих робких и запуганных людей. Абрам Ахметзянов с товарищами выезжал ночью на место своей неудачи, и, остановясь в отдалении, они кричали и грозили, требуя возвращения лошадей; но якуты только звали их подойти поближе, а на следующую ночь, как было известно в слободе, – устроили засаду у брода. Но удалой Абрашка уже не решился выехать туда вторич-

но, и угрозы татар остались неисполненными...

За первой неудачей последовали дальнейшие. Два раза якуты ловили воров на месте и, связанных, отвозили в город, провожая их на всякий случай целыми отрядами. Такими же отрядами являлись они иной раз в слободу, представляя в «правление» ясные указания и улики. Проезжая по улицам мимо татарских домов, якуты держались насмешливо и гордо, посмеиваясь и вызывая.

Теперь татары уже боялись отлучаться в улусы даже днем, а отдельные татарские семьи, поселенные среди якутов, покидали места поселения и стягивались к слободе. Якуты прекратили им всякие пособия, которые выдавали прежде. При этом, разумеется, пострадали и мирные татары, к которым все-таки относились подозрительно, опасаясь сношений с соотечественниками.

В это именно время Абрам остановил меня указанием на злополучного татарина, бросившего своих голодных детей...

Борьба, видимо, обострялась. Обоюдное ожесточение росло. Прежде татары воровали, но убийств не было. Теперь они шли уже на все, и при перестрелках бывали раненые с той и другой стороны. Был и еще один косвенный результат наследной войны: кражи в самой слободе значительно участились.

Однажды Козловский пришел к нам, видимо озабоченный, и сказал, улыбаясь и почесывая в голове:

– Нельзя ли, господа, как-нибудь... удержать этого вашего

приятеля?

– Что такое? Какого приятеля?

– Да якутского генерала. Беда ведь это: прежде, когда татары ездили в якуты, – у нас хоть воровали, да все-таки жить было можно. А ведь теперь – съедят начисто. Эту ночь сломали два амбара...

Один из амбаров принадлежал смотрителю почтовой станции. Это была жалкая станция, конечный пункт почтовой дороги, которая не шла дальше слободы и куда почта приходила раз в две недели. Но смотритель имел все-таки чин и в некоторых торжественных случаях надевал даже шпажонку. К неприкосновенности почтовой корреспонденции он относился весьма своеобразно и считал себя в полном праве присланные кому-нибудь из поселенцев (чаще всего скопцам) золотые заменять тем же количеством кредиток. Но, конечно, о взломе своего амбара он тотчас же послал самые энергические жалобы в областной город.

Между тем имя Степана, хотя ни мы, ни Козловский ничего не говорили о нем, было на всех устах. В слободе об этом сначала говорили шепотом, в виде догадок, потом с уверенностью. Теперь даже дети на улицах играли в войну, причем одна сторона представляла татар, другая якутов под предводительством Степана... А по улусам, у камельков, в долгие вечера о белоглазом русском уже складывалась чуткая, протяжная былина, олонхо...

Мы, конечно, тоже с большим интересом относились и к

эпизодам этой небывалой борьбы, и к новой роли нашего знакомого. Мой желчный товарищ хотя и объяснял все дело личными счетами Степана с Абрашкой, но все-таки переменил о нем свое мнение.

– Как бы там ни было, а молодчина! Проявляет искру, здоровую искру проявляет...

– Да, чем только это кончится? – озабоченно прибавлял Козловский. – На собрании решили на ночь наряжать большие караулы. Придется и вам, господа, из-за приятеля померзнуть...

В конце ноября, в ясный зимний день, в слободу явились гости. Утром, возвращаясь из поездки в город, приехал тунгусский поп. Вскоре после этого у наших ворот остановились санки, в которых сидели Маруся и Тимоха. Их сопровождали три верховых якута, – может быть, случайно, но всем это показалось чем-то вроде почетного эскорта, которым налег снабдил жену своего защитника. Маруся была одета по-праздничному, и в ее лице показалось мне что-то особенное.

А под вечер того же дня по дороге из города опять слышался колокольчик. День был не почтовый: значит, ехало начальство. Зачем? Этот вопрос всегда вызывал в слободе некоторую тревогу. Природные слобожане ждали какой-нибудь новой раскладки, татары в несколько саней потянулись зачем-то к лесу, верховой якут поскакал за старостой... Через полчаса вся слобода была готова к приему начальства...

Приехал заседатель Федосеев и тотчас после приезда при-

гласил нас к себе на въезжую избу. Передав нам несколько писем, он попросил других присутствующих удалиться и сам запер за ними дверь. Подойдя затем к столу, он расстегнул форменный сюртук, как будто ему было душно, и стал набивать себе трубку. Он был, казалось, в каком-то затруднении и даже в некотором замешательстве.

Это был местный уроженец из казаков, человек средних лет, отличный служака, превосходно знавший местные условия. Из личных его особенностей мы знали его слабость к выпивке – из слободы его иногда увозили, уложив в повозку почти без сознания, – и к книжным словам, которые он коллекционировал с жадностью любителя и вставлял, не всегда кстати, в свою речь. Человек он, впрочем, был в общем добрый, и все его любили. С нами он был не в близких, но все же в хороших отношениях.

Набив трубку и закурив ее от сальной свечи, горевшей на столе, он некоторое время усиленно затягивался и наконец сказал:

– У меня к вам, господа, дело, так сказать... партикулярное. Я буду с вами говорить прямо: вы знакомы с этим поселенцем из бродяг, Степаном?

– С Дальней заимки? Да, знакомы.

– Так!.. Пожалуйста, не думайте что-нибудь такое... Он, кажется, у вас останавливается, приезжая в слободу?

– Да, нередко.

Заседатель засосал свою трубку, как будто в данную ми-

нугу это для него было самым важным делом, и сказал:

– Странный человек!

– Чем же собственно?

– Да как же, помилуйте: вмешивается не в свои дела, распоряжается тут в наслеггах, как начальство, заварил кашу...

Он встал со стула, видимо в дурном расположении духа, и, беспокойно пройдясь по комнате, сказал уже с явным неудовольствием:

– Помилуйте, что же это такое. Прежде был самый спокойный улус – теперь не проходит недели без происшествия. Там стреляют, там ранили человека, там поймали татарина, волокут в город. Только и слышишь: где происшествие? В участке Федосеева. Гнездо какое-то.

Я начинал понимать настроение заседателя. Каждая профессия имеет свою специфическую точку зрения. Семен Алексеевич Федосеев не мог не знать, что каждый год окрестные наслегги являлись ареной той же борьбы. Но прежде одна сторона относилась к ней пассивно. Взломан амбар, уведена лошадь, зарезана корова, поступает жалоба, виновные не найдены... Дело предается воле божией, даже не доходя до города; в каждый свой приезд в слободу он приканчивал несколько таких дел простой подписью под заранее составленными постановлениями о прекращении дел «за необнаружением виновных»... Это и значило, что в его участке было все спокойно. Теперь каждое дело приобретало громкую огласку, доставлялись пойманные с поличным,

происходили перестрелки; толки о необычайном обострении борьбы наслегов с татарами обращали внимание. Проникнув в эту сущность дела, я невольно улыбнулся.

– Позвольте, – сказал я, – но ведь Степан не ворует и не грабит, а защищает и некоторым образом содействует обнаружению виновных.

Семен Алексеевич уселся и посмотрел на меня в упор.

– Ну, вот-вот. Это самое... Это-то вот и есть, как сказать... центр... именно: центр вопроса... Скажите, пожалуйста: бродяга, непомнящий, обыкновенный, извините, варнак... Откуда у него вдруг эти... эти...

– Идеи, – подсказал я, догадываясь, куда клонится его мысль.

– Идеи-то, идеи, но, как это еще?..

– Рыцарские.

– Ну, вот-вот, – сказал он с облегчением, и лицо его несколько просветлело. – Вот в городе – извините, я уже буду говорить прямо – и рассуждают: из простого варнака делается вдруг этакой, знаете, необыкновенный, как его?.. Ринальдо Ринальдини своего рода. Как? Почему? Откуда? Книг он не читает... Разными этими идеями не занимается... Очевидно, тут действует (он искоса посмотрел на нас) *постороннее влияние*...

– Прибавьте, Семен Алексеевич, «вредное», – сказал я улыбаясь.

Он слегка поперхнулся дымом своей трубки.

– То есть я, конечно, не говорю... Это очень благородно... Даже, можно сказать, аль... аль... труистично... Ну, да!.. Но согласитесь сами...

И, стукнув себя чубуком несколько раз по затылку, он произнес с большим оживлением:

– Вот где у нас эта защита сидит, вот-с! То и гляди, из Иркутска запрос прискачет на курьерских... Кто заседатель в участке? Как мог допустить такое положение вещей!.. А черт! А я только тем и виноват против других, что у меня тут... не угодно ли... защитник угнетенных явился...

Его отчаяние было так искренно и комично, что оба мы с товарищем не могли удержаться от откровенной улыбки.

Заметив это, Федосеев сам улыбнулся.

– Ну, хорошо, господа! Все это верно-с и справедливо! Донельзя справедливо! До нек плюс утра!¹ Признаюсь вам откровенно: сам в городе говорил, что останусь в дураках... А все-таки вот у Петриченки амбар сломали...

– Ну, это еще не самое печальное из бедствий... Почему это, Семен Алексеевич, вам амбар Петриченки дороже крестьянских или якутских?

– Сломают еще ваш, потом примутся за другие. Да если подумать так, по человечеству... так ведь больше им и делать нечего.

– Ну, положим, – работники они отличные.

– На чем работать? – уныло сказал заседатель, принима-

¹ Nee plus ultra – до последней степени (лат.).

ьясь набивать другую трубку. – Областное правление завалено их просьбами об отводе земли... Просьбы совершенно законные...

– Отчего же их не удовлетворяют?

– Откуда? Вы знаете, что у слобожан у самих земли немного. Насилу удалось склонить крестьян уступить по три четверти десятины покоса... Что такое три четверти десятины?

Он закурил и заговорил в совершенно другом тоне, просто и уже действительно вполне партикулярно:

– По закону нельзя поселять ссыльных больше чем на одну треть против местного населения. А их тут теперь почти столько, сколько слобожан. Где же взять земли?

– Вот об этом в городе и следовало подумать.

– А, батюшка, думали! Даже писали много раз, потому что это ведь не от нас. «Для удобства надзора поселить в одном месте при слободе...» Вот вам и удобство надзора.

– Повторять... добиваться.

– Повторяемо было многократно!.. (Он махнул рукой с видом полной безнадежности.) А теперь я вот вам прямо скажу: всех захваченных якутами татар мы выпустили.

– Да? А ведь, кажется, улики полные.

– Тюрьма еще полнее. Недавно прислали партию спиртоносков из отряда Никифорова. Эти молодцы в Олекминской тайге дали правильное сражение приисковым казакам. Это поважнее якутских амбаров. А в остроге яблоку упасть неку-

да... Эх, господа, господа!.. Надо судить по человечеству... Мы тут так опутаны... Приезжай сейчас какой-нибудь ревизор из того же Иркутска: мы тут в «нарушениях», как в паутине... А если бы разобрать хорошенько, по человечеству...

Расстались мы совершенно дружески. Мы объяснили председателю, что наше влияние едва ли должно быть принимаемо в расчет в этом случае...

– А ведь сразил он вас, признайтесь, – сказал дорóгой мой товарищ, молчавший почти все время нашего разговора.

– Признаюсь охотно, – ответил я. – Действительно, вторая половина нашей беседы произвела на меня сильное впечатление.

– И главное, чем сразил, – продолжал мой приятель, – вы говорили то, что должен был говорить он, а он – то, что, в сущности, должны были сказать вы...

И это было вполне справедливо. Короткий разговор с председателем отбросил опять мое настроение в область того нейтралитета, который по какому-то инстинкту признала за нами сама среда... Но что же делать? Живому человеку трудно ограничиться ролью свидетеля, когда жизнь кругом кипит борьбой... Печать? корреспонденции? освещение общих условий? Долго, далеко, неверно!..

Остальную дорогу мы оба шли молча. По сторонам тихо переливались огни сквозь ледяные окна... Слободка кончалась обычным порядком свой бесхитростный день, не задаваясь ни думами, ни вопросами... Она жила, как могла, и нам

выпала роль безучастных свидетелей этой жизни. И никогда еще эта роль не казалась мне такой тяжелой...

На улице нас остановил Козловский, который дожидался у своих ворот, чтобы узнать о результатах переговоров наших с заседателем. Умный поляк выслушал внимательно наш рассказ и сказал с убеждением:

– А что вы думаете: ей-богу, это правда! Что нужно этому Степану, в самом деле? Какое у него шило сидит, что он эту кашу заварил? Не поверю я, что это он из-за якутов.

Я рассказал то, что знал сам. Вспомнил Дальнюю заимку, болезненный приступ Степана ночью над озером, его жалобы на пустоту жизни, его порывания на прииски, от которых его удерживало упорное сопротивление Маруси...

– Мудрено все это, – задумчиво сказал Козловский и прибавил решительно: – Ну, помяните мое слово, долго это все равно не протянется... А я был у вас: там теперь поп в гостях... Чего они святить собираются?

Я догадывался, о чем шли переговоры с бродячим священником, и мы в некоторой нерешительности остановились невдалеке от нашей освещенной юрты, чтобы не мешать этим переговорам, решавшим участь Маруси. Вечер был морозный, но безветренный и тихий, и мы думали еще пройти по улице или даже уйти на время к Козловскому, как вдруг дверь нашей юрты открылась и из нее вышел Тимоха. Его приземистая фигура, в полушубке и неизменном треухе, вся облитая холодным светом луны, показалась мне как-то

особенно устойчивой, кряжистой и крепкой. Когда он поравнялся с нами, в морозном воздухе пронеслась струйка винного запаха.

– Куда вы это, Тимофей? – спросил я.

– Да что, братцы... Сам не знаю: запрягать, что ли... Ведь уж дело-то видно: ни черта не выйдет. Не бывать, видно, плешатому кудрявым.

– О чем вы это говорите?

– Да все о том же. Она, конечно, хочет, чтобы как по-хорошему, как, словом сказать, у людей. А ему бы, лодырю, играть... Нельзя ему без Абрашки и быть.

– Да ведь они с Абрамом теперь на ножах?

– То-то и я говорю... Не мытьем, так катаньем... Всю татарскую силу поднял. Чужих, вишь ты, амбаров жалко... Свой-то убережешь ли, говорю, Степанушко... Сказано: ненатуральный человек... Игрун!

Потом, наклонясь к нам, он прибавил тише:

– Дело-то, почитай, на мази было. Бычка да двух телок уж я к якутам свел на станцию. Попу, значит, мимо ехать, – взял бы. Да денег пятнадцать рублей. Все ведь припасла Марья-то... А ни к чему.

– Отчего же?

– Да вот по тому самому: боек очень. Теперь об нем не то что... в городе молва идет. Обвенчай эдакого хахаля, – будешь у праздника. Чай, тоже не о двух головах хоть и поп этот...

В это время дверь юрты открылась опять, и на пороге появилась высокая фигура, вся в мехах и с посохом в руке. Это был священник. Я уже раз видел у знакомых эту своеобразную фигуру, всю проникнутую колоритом холодной и дикой пустыни. Родом с далекой Камчатки, настоящий подвижник своей трудной миссии, он разучился даже говорить полными предложениями и выражался кратко, однословно, но по своему определенно и сильно. Никогда я не видел человека, который бы мог пить так много и притом без всяких последствий. Другие собеседники валились кругом один за другим, а он продолжал, все такой же крепкий и молчаливый. Только черные глаза его немного разгорались, а лицо чуть-чуть бледнело. На многое он смотрел слишком упрощенно, но мне казалось, что под этой грубой оболочкой бьется недурное сердце...

Заметив нашу группу во дворе, он подошел близко и сказал с грубоватым простодушием, отрубая слова:

– Плачет. Глупая. Жаль. Баба хорошая.

– Баба как есть... Хоть в Расею возьми, – отозвался Тимоха.

– Мог бы, обвенчал бы. Не венчаны. Побожилась. Верю. За грех не почитаю. Имена ты, господи, веси... А мне пятнадцать рублей деньги...

– Как не деньги! – убежденно поддержал опять Тимоха. – По здешним местам где возьмешь?

– Так в чем же дело, батюшка? – спросил я.

– Нельзя... Человек заметен. Не тот человек.

– Правильно! – подтвердил Тимоха.

– И ей не такого бы. Жаль. Ну, нельзя.

Он сунул нам свою огромную руку и пошел к воротам, кидая по белому снегу гигантскую черную тень.

– Ха-а-роший батька, – сказал Тимофей с какою-то особенной теплотой в голосе...

Он пошел к лошадям, а мы вошли в свою юрту. Здесь еще ярко пылал огонь, на столе виднелись пустые бутылки и остатки угощения. Маруся лежала за перегородкой, уткнувшись лицом в изголовье...

Прошло минут двадцать. За перегородкой усилились глухие сдержанные стоны... Мы начинали уже бояться какого-нибудь болезненного припадка, но в это время, к общему облегчению, вошел Тимоха и сказал как-то просто и решительно:

– Ну, хозяйка! У меня лошади готовы. Едем, что ли.

В его грубом голосе я различил непривычно мягкую ласковую ноту.

– Куда же это вы, на ночь глядя? – сказал мой товарищ. – Да и опасно, смотрите.

– Чего это? – спросил Тимофей. – Это ты насчет татар? Эва! Чего им от нас нужно. Не-ет! Нас не тронут. А в случае чего, у меня дубина. Ну, полно тебе, хозяйка! Вставай! Домой надо.

За перегородкой несколько секунд еще стояло молча-

ние, потом Маруся поднялась как-то вдруг, и ее фигура появилась в темном четырехугольнике двери. Ее праздничная одежда была слегка измята, лицо искажено мучительной судорогой и, как мне показалось, выражением глубокого, мучительного стыда... Тимоха помог ей одеться. Она застенчиво поклонилась нам, и они вышли...

На следующее утро мы стояли с Козловским у ворот, разговаривая о событиях прошедшего дня... День был сравнительно мягкий, градусов пятнадцать, что для тех мест соответствует нашей оттепели, и на улице виднелось немало народу...

Вдруг мы заметили около середины длинной слободской улицы какое-то оживление. Лаяли собаки, выбегали люди, стайка татарчат бежала за всадником, ехавшим по самой середине улицы почти шагом.

– А ведь это, смотрите, Степан, – сказал, взглядываясь, Козловский.

Я сначала не поверил, но стоявший рядом слобожанин Сергей, обладавший чисто рысьей дальнозоркостью, с уверенностью подтвердил мнение поляка.

– Ну, смелая шельма, – сказал с одобрением Козловский. – Едет себе среди дня, как ни в чем не бывало. Пьяный, должно быть... Вот будет штука, если увидит Абрашка.

Абрашка в это время колот дрова. Заинтересованный шумом, он равнодушно вышел за ворота, пригляделся и вдруг

со всех ног кинулся в дом. Через минуту дверь отворилась. Мне показалось, что оттуда мелькнуло дуло ружья, но тотчас же дверь захлопнулась опять. Не прошло и минуты, как из юрты появилась красивая жена Абрама, а за ней – сам Абрам покорно шел с пустыми руками...

Толпа за Степаном росла. Он ехал не торопясь, конь порывался и играл под ним, пугаясь шума и толкотни, но Степан сдерживал его и, казалось, не обращал внимания на все происходившее. Мне показалось, что он действительно несколько пьян. Я заметил, что в толпе было больше всего татар. Слобожане и якуты, наоборот, скрывались в юрты. Степан испытывал еще раз участь героя, оставляемого в трудную минуту теми самыми людьми, которые всего больше ему удивлялись. Сергей тоже с замешательством почесался...

– Уйти, однако, – сказал он, озираясь; но наше присутствие и любопытство пересилило, и он остался.

Степан тотчас же заметил Абрашку и его жену, которые двинулись ему навстречу. Я подумал даже, вспомнив при этом Тимоху, что вся эта бравада Степана имела главным образом в виду Абрашкину юрту и ворота, мимо которых ему приходилось ехать. Заметив своего противника, Степан нервно дернул повод, но затем в лице его показалось легкое замешательство и как будто растерянность. Он, вероятно, ждал чего-нибудь более бурного.

Между тем красивая татарка шла прямо на лошадь плавной походкой полной женщины, – и Степану пришлось оста-

новиться. Толпа тоже остановилась, но было видно, что это просто толпа любопытных. Вдруг среди нее послышался дружный смех, после двух или трех слов Марьи, сказанных по-татарски.

– Что она сказала? – спросил я.

– Ничего, – ответил Сергей, тоже улыбаясь. – Она говорит: «Здорово, Степанушка...», больше ничто не сказал...

– А он разве понимает по-татарски?

– Тюрьма сидел с ними... Знает.

Толпа опять захохотала.

– Что такое? – спросил я опять.

– Ничего, – ответил мой переводчик. – Конфузил больно... Ты, говорит, якутской вера...

– А теперь что?

Он слушал и переводил мне, пока Степан тихо прокладывал себе путь среди толпы, а Марья, держась немного поодаль, продолжала свои язвительные речи.

Через некоторое время к ней присоединился Абрам. Он говорил страстно и все повышал голос.

– А! Че! – восклицал Сергей при каждой новой фразе. –

Больна конфузил.

– Да что же такое? – спрашивал я с нетерпением.

– Ты, говорит, с нами хлеб ел.

– Ты, говорит, с нами спал вместе.

– Ты, говорит, нам считался все одно брат.

– Ты, говорит, за джякут заступил, за нас не заступил...

– Тебе, говорит, джякут лучше татарина стал...

– Ты, говорит, научил поганых якутов украсть моего каурка...

Я слушал с удивлением перевод этих речей, в которых, в сущности, не было ничего, кроме изложения действительных фактов. Все, что тут говорилось, была правда, все это было хорошо известно и нам, и Степану, и всей слободе. И я не мог понять, почему эта толпа торжествовала над этим человеком, которому стоило только поднять голову и сказать несколько слов. Я так и ждал, что Степан остановит коня и крикнет:

– Да, я сделал все это и опять сделаю... Собаки!..

Но Степан не говорил этого. Наоборот, его глаза, еще недавно дерзко искавшие опасности и кидавшие вызов, – теперь потупились; он густо покраснел, причем резко выступили опять светлые усы и брови, и, по-видимому, все свое внимание сосредоточил на мундштуке коня, как будто ехал над пропастью. Конь по временам, видимо, просился, поднимал голову и, оскалив зубы и брызжа пеной, тряс над головами шнырявших перед ним татарчат своей красивой головой с страдальческим выражением.

Марья уверенно шла немного в стороне и впереди и продолжала выкрикивать нараспев с какой-то проникающей страстностью... Такая же страстность и такая же изумительная уверенность в своей правоте слышалась в тоне Абрамки. Его прекрасные глаза горели и, казалось, метали искры, а го-

лос звенел и заражал глубокой искренностью негодования.

Голоса мужа и жены становились все возбужденнее, смех толпы все громче. Опасаясь, что в случае задержки все это может кончиться какой-нибудь катастрофой, я быстро перебежал через небольшую площадку и стал открывать свои ворота, в уверенности, что Степан едет к нам, и с намерением у своих ворот заступиться за него и остановить толпу.

И действительно, он уже стал было поворачивать за угол городьбы, как вдруг произошло что-то совсем неожиданное. Красавица татарка, державшая себя всегда с таким солидным достоинством, вдруг выступила вперед и перед всеми сделала по направлению к Степану бесстыдный жест...

Толпа неистово загоготала.

На наш взгляд, такой поступок опозорил бы только женщину; но я замечал много раз, что простые люди принимают это наоборот, как самое тяжкое оскорбление своей личности. И действительно, Степан вздрогнул, конь его, казалось, сейчас кинется на татарку. Но он удержал его, подняв на дыбы. Толпа шарахнулась, расчистив путь, и через минуту Степан исчез за околицей в туче снежной пыли под грохот и улюлюканье торжествующей толпы.

Увы! Это была полная нравственная победа одной стороны и поражение другой. Победа уверенного в себе и цельного в своей простодушной непосредственности злодейства над неуверенной и стыдящейся себя добродетелью...

.....

Недели через две мы с товарищем решили съездить на Дальнюю заимку. Обоим нам хотелось повидать Степана и, прямо или косвенно, выразить ему свое сочувствие.

Выехав задолго еще до рассвета, мы только к ночи подъехали к Дальней заимке.

Теперь трудно было узнать эту местность. Кругом все было занесено снегом, тайга стояла вся белая, за нею, едва золотясь краями на лунном свете, высились скалы, озеро лежало под снегом и только у берега высились мерзлые края проруби.

Малорусская хатка стояла пустая, с белыми обмерзшими окнами. За нею виднелась небольшая юрта с наклонными стенами, казавшаяся кучей снега. Летом я не обратил на нее внимания. Теперь в ее окнах переливался огонь, а из трубы высоко и прямо подымался белый столб дыма, игравший своими бледными переливами в лучах месяца.

Все было бело, бледно и прозрачно. Злой лай собаки приветствовал нас еще издали, и навстречу нам вышел, скрипнув дверью, Тимоха. В руках у него была здоровенная дубина. Очевидно, он полагался на нее более, чем на ружье.

Маруся приняла нас с грустной приветливостью, все-таки стыдясь чего-то и отворачивая лицо. Степана не было...

В юрте даже как-то незаметно было его отсутствие. Все было тесновато, но уютно, и, по-видимому, Маруся с работником жили довольно удобно... Они ничего еще не знали о происшествии в слободе. Степан домой не являлся. Очевид-

но, его жизнь начала отделяться от жизни Дальней заимки.

Пришлось все-таки рассказать Марусе о причине нашего посещения.

– Ну, теперь закрутит и еще пуще, – сказал Тимоха.

На шитье, с которым в это время сидела Маруся, капнула слеза... Она зашивала Тимохину рубаху...

Еще недели через две мы узнали, что Степан ушел на прииски.

VII. Заключение

Прошло года полтора. В самом начале осени приехал за-седатель Федосеев. Отдав нам письма и газеты, он попросил нас присесть и сказал:

– Да, кстати. Какое неприятное происшествие.

– Что такое?

– На Дальней заимке... Какой-то там Тимофей у них...
Работник, что ли, черт его знает...

– Да, работник.

– Ранен или ранил себя по неосторожности. Вообще, та-инственная история. Вы ничего не слышали?

– Нет, не слышали. Тяжело?

– Нет, легко. Уже поправляется. Я узнал стороной – они сами скрывают. Что, Степан у вас не бывал?

– Нет, он давно на приисках.

– Приходил не так давно за паспортом... Но, по нашим сведениям, он ушел опять недели за две до происшествия...

И вдруг, переходя в «партикулярный» тон, он сказал:

– Между нами сказать, – я уверен, что это его рук дело.

И, лукаво засмеявшись, прибавил:

– Вот оно, – женское сердце! Помните, я-то распинался: любовь... как это еще... идиллия, верность. И ведь работ-ник-то, заметьте, рожа несказанная... Настоящий... Ну, как это?.. Ква... Ква...

– Квазимодо...

– Ну, вот-вот. Я ведь прямо оттуда. Отобрал показания.

– Что же?

– Сам, говорит, по нечаянности; ружьем баловался... Но рана такая, что этого никоим образом допустить нельзя... Понимаете?

– А тюрьма у вас переполнена?

– Как селедок в бочке, – сказал он, махнув рукой. – К тому же... Только уж это, пожалуйста, вполне партикулярно, между нами!

Он оглянулся на запертую дверь и прибавил:

– Пришлось бы, пожалуй, и другое дело подымать... А жаль батьку, батька-то простяк...

– Неужели бродяжий брак? – спросил я.

– А вы почему догадались?

– Я знал об их намерении венчаться. Значит, все-таки Степану удалось это устроить?

– Как Степану?

– А то кому же?

– Ну, там кто устраивал, не знаю. А только обвенчался все же он, работник этот... На кого, подумайте, променяла! Тот все-таки был действительно молодец!

Мне вспомнилась пророческая вражда Степана и его отзыв о хитрости работника. А между тем я и теперь был уверен, что роль Тимохи была, как всегда, пассивная: наверное, Маруся просто женила его на себе... Изломанная, смятая ка-

кой-то бурей, она стремилась восстановить в себе женщину и хозяйку. Для этого ей нужно было ее хозяйство, весь этот уголок. Для хозяйства нужен хозяин. Все это – лишь внешняя оболочка, в которую, как улитка, пряталась больная женская душа.

А впрочем... Кто знает? Иногда мне вспоминалось время, проведенное нами на заимке, рассказ Тимофея, горящие глаза Маруси и почти страдальческое участие ее к этому рассказу. И мне приходило в голову, что, быть может, в ней, стремившейся восстановить в себе крестьянку, этот Тимоха, так полно сохранивший в себе все особенности пахаря, мог задеть и другие сердечные струны...

Все это, однако, показалось мне слишком туманным и сложным, чтобы делиться этими соображениями с заседателем Федосеевым.

Недавно я получил из тех мест длинное письмо. Моя знакомая отвечала подробно на мои вопросы о местах и людях.

«...О Степане мне трудно было узнать что-нибудь. О нем все как-то забыли. Марья же (по мужу Захарова) живет на „Дальней заимке“. Это место пользуется некоторой известностью, и начальство охотно поселяет там русских, на которых можно рассчитывать как на земледельцев. Пожалуй, что это начало будущего значительного поселения. У Марьи два сына, один – подросток, отличный работник. Оба говорят по-малорусски лучше, чем по-русски. Тимофей тоже хороший

работник, но, по общему мнению, настоящая хозяйка – Марья. Впрочем, она выказывает ему наружные знаки почтения. Иногда он напивается и под пьяную руку поколачивает ее. Она охотно рассказывает об этом, как будто гордится побоями „своего мужа“, или, как она называет, „чоловіка“... В смехе Маруси ничего особенного незаметно... Вообще она, по-видимому, человек вполне нормальный».

«Выпрямилась», – подумал я по прочтении этого письма. Мне опять вспомнилась молодая искалеченная лиственница... Даже эти побои... Вероятно, Марье приходит при этом в голову, что, – не будь всего того, что вырвало ее из родной среды, – какой-нибудь «чоловік Тиміш» где-нибудь в своей губернии так же напивался бы, так же куражился, так же поколачивал бы ее в родной деревне... На то он «чоловік», свой, родной, «законный».

У всякого свои понятия о счастье....

Во времена моей юности один товарищ рассказал мне следующую историю. Как-то, лишившись уроков, он дошел до крайней нужды и не ел почти два дня. В это время ему предложили работу. Он вяло шел по улицам на приглашение и думал, что вряд ли в силах будет исполнить заказ. Вот если бы задаток!.. Хоть рубль... именно рубль!.. И вдруг в его воображении с необыкновенной яркостью нарисовалась желтенькая бумажка. С этим заманчивым образом в уме он слушал объяснение заказчика. В заключение тот сам предложил задаток и протянул... десять рублей. Студент вяло посмот-

рел на бумажку. Это было не то, что ему нужно.

– Рупь... – сказал он с выражением тупой жадности в голосе.

– Но позвольте...

– Рупь, рупь, рупь, – повторял он настойчиво. Заказчик пожал плечами, студент получил желаемое. И в эту минуту он был счастлив...

Маруся тоже отвоевала у судьбы свой рубль и – значит, тоже счастлива.

Известия эти доставили мне чувство некоторого удовлетворения, героические усилия молодого надломленного существа не пропали даром. Но когда я гляжу теперь на несколько пожелтевших листочков, на которых я тогда набросал в коротких чертах рассказ Степана, – сердце у меня сжимается невольным сочувствием. И сквозь благополучие Дальней заимки хочется заглянуть в безвестную судьбу беспокойного, неудовлетворившегося, может быть давно уже погибшего человека...